

ЛЮБИМАЯ
ПРОЗА



СДЕЛАНО
В СССР

Викентий
Вересаев

В ТУПИКЕ СЕСТРЫ



Сделано в СССР. Любимая проза

Викентий Вересаев

В тупике. Сестры

«ВЕЧЕ»

Вересаев В. В.

В тупике. Сестры / В. В. Вересаев — «ВЕЧЕ», — (Сделано в СССР. Любимая проза)

ISBN 978-5-4484-7784-3

Современному читателю неизвестны романы «В тупике» (1923) и «Сестры» (1933). В начале 30-х гг. они были изъяты с полок библиотек и книжных магазинов и с тех пор не переиздавались. В этих романах нашли отражение события нашей недавней истории: гражданская война и сложный период конца 20-х – начала 30-х годов. В послесловие вошли не публиковавшиеся ранее материалы из архива писателя.

ISBN 978-5-4484-7784-3

© Вересаев В. В.

© ВЕЧЕ

Содержание

В тупике	5
Часть первая	6
Часть вторая	57
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Викентий Викентьевич Вересаев

В тупике Сестры

В тупике

Читал «В тупике». Здесь эту книгу хвалили за ее «контрреволюционность», мне она дорога ее внутренней правдой, большим вопросом, который Вы поставили пред людьми так задушевно и так мужественно. Хороший Вы человек, Викентий Викентьевич, уж разрешите сказать это. И когда люди Вашего типа вымрут в России, а они ведь должны вымереть и скоро уже, – лишится Русь значительной части духовной красоты, силы и оригинальности своей. Лишится. И не скоро наживет подобных.

Из письма М. Горького к В. Вересаеву 03.06.25. Сорренто

*И ангелы в толпе презренной этой
Замешаны. В великой той борьбе,
Какую вел Господь со князем скверны,
Они остались – сами по себе.
На Бога не восстали, но и верны
Ему не пребывали. Небо их
Отрицало, и ад не принял серный,
Не видя чести для себя в таких.*

Данте. «Ад», III. 37—42.

Часть первая

*Жил старик со своею старухой
У самого синего моря...*

В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женою и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сартанов, постоянный участник пироговских съездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчавящеюся бородою, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненных на фронте, обронил слово «бойня» – и очутился в Бутырках¹. Год назад, уже при советской власти, он выступил в обществе врачей своей губернии с безоглядною, как всегда, речью против большевистских расстрелов. Чрезвычайка² его арестовала и отправила в Москву с двумя спекулянтами и черносотенцем-генералом. По дороге Иван Ильич вспомнил молодость, как два раза бегал из сибирской ссылки, ночью на тихом ходу соскочил с поезда и скрылся. Друзья добыли ему фальшивый паспорт, и он, с большими приключениями, перебрался в Крым³.

* * *

Бешено дул февральский норд-ост, поэтому Иван Ильич рубил дрова в сарае. Суетливо заглянула в сарай Анна Ивановна, с корзинкой в руке.

– Иван Ильич, я иду в потребилку, а Катя⁴ стирает белье. Брось рубить, пойдешь, заправь борщ. Возьми на полке ложку муки, размешай в полстакане воды, – холодной только, не горячей! – потом влей в борщ, дай раз вскипеть и поставь в духовку. Понял? Через полчаса будем обедать, как только ворочусь.

Она беспокойно заглянула в истомленное его лицо и поспешно пошла к калитке.

Иван Ильич направился в кухню, долго копался на полке в мешочках, размешал муку и поставил борщ на плиту. Вошла Катя с большим тазом выpolосканного в море белья. Засученные по локоть тонкие девические руки были красны от холода, глаза упоенно блеснули.

– Смотри, папа, как белье выстирала.

Иван Ильич со страхом глядел на закипавшую кастрюлю.

– Да-да! Очень хорошо... погоди, как бы не убежало!..

– Да не убежит. Посмотри! – Она развернула перед ним простыню. – Как снег под солнцем! Подумать можно, жавелевой водой стирано! Ну, теперь могу сказать, умею стирать. Скажи же, – правда, хорошо?

– Ну, хорошо, конечно!

– Я нашла секрет, как стирать. И как мало мыла берет!

¹ Бутырская тюрьма в Москве.

² Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Создана постановлением Совнаркома от 20.12.1917 г. Во главе ее был поставлен Ф.Э. Дзержинский.

³ События в романе происходят в восточной части Крыма, в пос. Коктебель и городе Феодосии.

⁴ Прототипом Кати является супруга и троюродная сестра писателя Мария Гермогеновна Смидович.

– Охота класть на это столько сил. Побелее, посрее, – не все равно!

– Ну уж нет! Делать, так по-настоящему делать... Как снег у нас на горах! Ах, как интересно!.. Ну-у, как ты мало восхищаешься!

– погоди! Закипело!

Он озабоченно снял кастрюлю с плиты и поставил в духовку. Катя с одушевлением говорила:

– Я тебе объясню, в чем дело. Совсем не нужно сразу стирать. Сначала нужно положить белье в холодную воду, чтобы вся засохшая грязь отмокла. Потом отжать, промылить хорошенько, налить водой и поставить кипеть...

– Ну, матушка, я этого не пойму... Нужно идти дрова рубить.

– И все, больше ничего! Немножко только протереть... Ужасно интересно! Пойду вешать.

Иван Ильич побрел в сарай, опять взялся за дрова. Движения его были неуверенные, размах руки слабый. Расколот полено-другое, – и в изнеможении опустит топор, и тяжело дышит, полуоткрыв беззубый рот.

Донесся крик Кати:

– Папа, обедать! Мама пришла.

Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошел в кухню. Анна Ивановна сидела на табуретке с бессильно свисшими плечами, но при входе Ивана Ильича выпрямилась. Он свалил дрова в угол.

– Ну что, достала керосину?

– Нету в потребилке. Даром только прошлась. И муки нету.

Катя поставила на стол борщ. Анна Ивановна подняла крышку, заглянула в кастрюлю и обомлела.

– Чего ты туда насыпал?

Иван Ильич обеспокоенно ответил:

– Как чего? Муки, как ты сказала.

– Ах, ты, боже мой! Так и есть!.. – Она зачерпнула борщ разливательной ложкой и раздраженно опустила ее назад. – Ты туда картофельной муки насыпал, получился кисель... Как ребенок малый, ничего нельзя ему доверить.

– Да что ты? Неужто картофельной? – Иван Ильич сконфузился.

– Как же ты не видел, что картофельная мука?

– Я вижу, белая мука, а какая – кто ее знает! Ну ничего! Ведь все питательные вещества остались. Дай-ка попробую. Ну вот. Очень даже вкусно.

Анна Ивановна, чтоб овладеть собою, стала раскладывать на плите дрова для просушки. Катя жадно ела и, откусывая хлеб, говорила:

– Хлеб-то зато какой вкусный! Настоящий пшеничный, и ешь сколько хочешь. А помните, в Пожарске⁵ какой выдавали: по полфунта в день, с соломой, наполовину из конопляных жмыхов!

Поели постного борща и мерзлой, противно-сладкой вареной картошки без масла, потом стали пить чай – отвар головок шиповника; пили без сахара. После насытной еды и тяжелой работы хотелось сладкого. Каждый старался показать, что пьет с удовольствием, но в теле было глухое раздражение и тоска.

Анна Ивановна обеспокоенно сказала:

– А Глухарь Тимофей опять не пришел крышу чинить. Третий раз обманывает, что же это будет, как дожди пойдут!..

Катя вдруг рассмеялась.

⁵ Город Пожарск встречается и в более ранних произведениях Вересаева (например, в повести «Без дороги» – 1895 г.). Под этим названием писатель выводит свой родной город Тулу.

– Господа, помните прежние времена, как, бывало, все ужасались на жизнь студентов? Бедные студенты! Питаются только чаем и колбасой! Представьте себе ясно: настоящий китайский чай, сахар, как снег под морозным солнцем, французская булка румяная, розовые ломтики колбасы с белым шпиком... Бедные, бедные студенты!

Все рассмеялись. Уж очень, правда, смешно было вспомнить и сравнить. Стало весело, и раздражение ослабело. Катя, смакуя, продолжала:

– Или, помните, калоши студенческие? Тусклые, потрескавшиеся, с маленькой только дырочкой на одной пятке! Вы подумайте: калоши! Домой не приносишь лепешек грязи, чулки сухие и только чуть мокро в одной пятке!.. Правда, бедные студенты?

Наружная дверь без стука открылась, вошла в кухню миловидная девушка в теплом платке, с нежным румянцем, чудесными, чистыми глазами и большим хищным ртом.

– Добрый день!

– А, Уляша!.. Садитесь, попейте чайку.

Девушка поставила на стол две бутылки молока, покраснела и села на табуретку. Иван Ильич, расхаживая по кухонке, спросил:

– Ну, что хорошенького слышали про большевиков? Где они сейчас?

– Вы, чай, лучше знаете.

– Откуда же нам знать?

– Вчера почта из города проезжала, ямщик сказывал, – в Джанкое.

Иван Ильич захохотал.

– Ого! Быстро они у вас шагают!.. Что же, ждут их на деревне?

Уляша помолчала и с неопределенною улыбкою взглянула в угол.

– Большевиков-то у вас, должно быть, не мало.

– Кто ж их знает... – Она застенчиво улыбнулась и вдруг: – Да все большевики!

– Вот как?

– И папаша большевик, и все наши большевики.

– И вы тоже?

– Ну да.

– А что такое большевизм?

– Сами знаете.

– Нет, не знаю. Каждый по-своему говорит.

– Представляетесь.

– Ну, все-таки – что же такое большевизм?

Уляша помолчала.

– Дачи грабить.

– Что?!

– Дачи ваши грабить.

Иван Ильич громко захохотал на всю кухню.

– Точно и верно определила. Молодец, Уляша!

Катя сказала:

– Вот, Уляша, вы говорите, что и вы большевичка. Что же, и вы пойдете, например, нас грабить?

– Все пойдут. Уж теперь сговариваются. Отказываться никому не позволят. А нам что ж свое терять?

– Почему же именно дачников грабить?

– Они богатые.

– А мужики у вас в деревне не богатые? Вон, Албантов осенью одного вина продал на сто двадцать тысяч. Сами же вы говорили, что у каждого мужика спрятано керенок на двадцать-тридцать тысяч. И всё у них есть, всякая скотина. Где же нам, дачникам, до них?

– Нет, мужики не считаются богатыми.

– Да почему же? Вон, у вашего отца – две лошади, две коровы, гуси, свиньи, десятка два барашков... Да вы бы дня, например, не стали есть так, как мы едим. Теперь только мужики у нас и богаты.

– Мы работаем. А дачники все лето на берегу лежат голые да цветы по горам собирают.

Катя возмутилась. Она стала говорить об интеллигентном труде, о тяжести его. Потом стала объяснять, что большевики хотят лишить людей возможности эксплуатировать друг друга, для этого сделать достоянием трудящихся землю и орудия производства, а не то, чтоб одни грабили других.

Возмутился Иван Ильич и напал на Катю.

– Это ты о социализме говоришь, а не о большевизме. Зачем ты тогда уехала из Совдепии?.. Нет, Уляша, большевизм именно в том, как вы говорите: грабь, хватай, что увидишь, не упускай своего! Брось работать и бездельничай. И только о себе самом думай.

Уляша выпила чай, сказала «спасибо» и встала.

– Папаша велел сказать, что с завтрашнего дня молоко по три рубля кварта.

Анна Ивановна всплеснула руками.

– Да что ты, Уляша, говоришь! Было полтора и вдруг три рубля, вдвое дороже!

– И потом больше не велел вам носить, сами ходите. Много, говорит, время уходит.

Иван Ильич решительно сказал:

– Ну чего тогда разговаривать. Столько платить не можем. Не надо. Пейте сами.

Глаза Уляши стали серьезными, она значительно ответила:

– Мы сейчас молока не пьем: Великий пост.

Иван Ильич захохотал.

– Молока пить нельзя, а людей грабить можно! Нет, Уляша, вы просто прелесть!

– В город будем возить сметану, творог.

– Ну и возите себе.

Уляша застенчиво улыбнулась, покраснела и сказала:

– До свиданья вам!

– До свиданья.

Катя протянула печально:

– Значит, и без молока!

Иван Ильич сердито накинулся на нее:

– Я не понимаю, с чего ты вдруг вздумала защищать пред нею большевизм. Удивительно своевременно!

– Пусть же она знает, что такое большевизм в идее.

– «В идее!..» Чрезвычайки, расстрелы, разжигание самых хамских инстинктов – и идея!

Они стали спорить, сердясь и раздражаясь. Иван Ильич махнул рукою и ушел в спальню.

Лег на постель и стал читать газету. В обычном старом стиле сообщалось о доблестных добровольческих частях, что они, «исполняя заранее намеченный план», отступили на восемьдесят верст назад; приводилось интервью с главноначальствующим Крыма, что Крыму большевистская опасность, безусловно, не грозит; сообщалось, что Троцкий убит возмущившимися войсками, что по всей России идут крестьянские восстания, что в Кремле всегда стоит наготове аэроплан для бегства Ленина. Ничему этому не верилось, но все-таки приятно было читать.

Из деревни за Иваном Ильичом приехал на линейке красавец болгарин: жена его только что родила и истекает кровью. Иван Ильич поехал. У роженицы задержался послед. Иван Ильич остановил кровотечение, провозился часа полтора. На прощание болгарин, стыдливо улыбаясь, протянул Ивану Ильичу бумажку и сказал:

– Вот примите малость!

Домой Иван Ильич воротился в сумерках. Катя спросила:

– Сколько тебе заплатили?

Он усмехнулся.

– Вот какая хозяйственная стала! Все сейчас же о деньге.

– Нет, серьезно, – сколько?

Иван Ильич неохотно ответил:

– Три рубля.

Катя ахнула.

– А фунт хлеба стоит семьдесят пять копеек! Значит, четыре фунта хлеба, гривенник на прежние деньги! Да как же ему не совестно! Ведь это Албантовы, первые богачи в деревне, они осенью одного вина продали на сто двадцать тысяч. Как же ты его не пристыдил, что так врачу не платят?

Иван Ильич решительно и серьезно ответил:

– Этим не торгуют и об этом не торгуются. Оставим.

– Да, выгодно для них! Сами за бутылку молока полтора рубля берут, а доктору платят трешницу. Вот где настоящие эксплуататоры!

– Марфа, Марфа! О многом печешься! – вздохнул Иван Ильич и пошел к себе.

Начиналась самая трудная пора дня. Керосину не было, и освещались деревянным маслом: в чайном стакане с маслом плавал пробочный поплавок с фитильком. Получался свет, как от лампадки. Нельзя было ни читать, ни работать. Анна Ивановна вязала у стола, сдвинув брови и подняв на лоб очки. Когда-то она была революционеркой, но давно уже стала обыкновенной старушкой; остались от прежнего большие круглые очки и то еще, что она не верила в бога. Иван Ильич медленно расхаживал по узкой спальне, кипит от вынужденного бездействия. В железной печке полыхали дровешки, от нее шел душный жар. По крыше шумел злобный норд-ост, море в бешенстве бросало на берег грохочущие волны. Катя убралась с посудой и ушла в бывшую каморку для прислуги за кухней, где она теперь жила зиму. Там, не жалея глаз, она села с книгой к своей копилке.

* * *

Вечером пили в кухне чай. Снаружи в кухонную дверь постучались. Иван Ильич отпер.

– А-а, профессор!

Вошел профессор с женой, – знаменитый академик Дмитриевский, плотный и высокий, с огромной головой. Его работы по физике были широко известны за границу. Несколько лет назад он открыл способ опреснения морской воды силою солнечной энергии и работал над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, а он второй год проживал на своей крымской даче, паял мужикам посуду и готовил для потребиловки жестяные коптилки. Кроме того, впрочем, два раза в неделю ездил в город и читал в народном университете лекции по физике. Среди рабочих они пользовались большою популярностью.

Сочным, жизнерадостным голосом, наполнившим всю кухню, профессор сказал:

– Ну, погодка! Еле дошли до вас. Ветер еще сильнее стал, с ног сшибает. Мокреть какая-то падает и сейчас же замерзает... Gruss aus Russland!⁶

Он счищал ледышки с седой бороды и усов. Профессорша скорбно вздохнула.

– Да, Gruss aus Russland! Так и представляется: холод, все жмутся в дымных, закопченных комнатах, грызут хлеб с соломой и ждут обысков.

Катя сняла со стола самовар и поставила на пол к печке.

– Садитесь, сейчас самовар подогрею.

– Не надо, мы уж пили.

⁶ Привет из России (нем.).

– Все равно, мне нужен кипяток, отруби заварить для поросенка.

Профессорша села на табуретку возле плиты.

– А у меня горе какое, Анна Ивановна! Весь день сегодня плакала... Представьте себе, любимое мое кольцо с брильянтом, свадебный подарок мужа, – пропало сегодня.

– Что вы говорите, Наталья Сергеевна? Ведь вы же его никогда с пальца не снимали!

– Да... Так странно! – Наталья Сергеевна машинально оглянулась и понизила голос: – Вы знаете княгиню Андожскую?

– Это, что у Бубликова живет, красавица такая?

– Да. Ее мужа, морского офицера, во время революции матросы сожгли в топке парового котла, все их имущества конфискованы. Живет она с маленькой дочкой и старухой матерью у Бубликова, все, что было, распродала, он ее гонит из комнаты, что не платит. Ужасно несчастная. Так вот пришла она сегодня утром к нам, я тесто месила. Увидела кольцо и пришла в восторг. «Как, – говорит, – можно с ним тесто месить! Ведь пачкается кольцо, портится!» – «Боюсь, – говорю, – потерять, очень дорого мне это кольцо». Ну, все-таки убедила меня, сняла я и положила на туалет. Через четверть часа она ушла, а после обеда хватилась я кольца, – нету. Весь туалет обыскали, все отодвигали, – нету. Когда княгиня была, муж в столовой мыл пол, он видел, что княгиня подошла к туалету и странно как-то стояла... Только вы, пожалуйста, никому этого не говорите! – испугалась Наталья Сергеевна.

– Может быть, кто другой взял?

– Никого решительно не было больше. Я ей написала письмо, завтра утром пошлю. Уж не знаю... Пишу: вы для шутки взяли мое кольцо, чтобы напугать меня, зная, как оно мне дорого. Пошутили и будет. Будьте добры прислать назад.

Катя взволнованно воскликнула:

– Да нет, это не может быть! Такая изящная на вид, отпечаток такой глубокой аристократической культуры!

– Тяжелое происшествие! – поморщился профессор.

– Господи, как мы все зачерствели! Ясно, погибает с голоду человек!

Наталья Сергеевна сочувственно вздохнула и, занятая своими заботами, продолжала:

– А вы слышали, у Агаповых вчера ночью выбили стекла. У священника на днях кухню подожгли. Чуют мужики, что большевики близко... Господи, что же это будет! Так я боюсь, так боюсь! Двое мы на даче с мужем, одни; он – старик. Делай с нами что хочешь.

Катя нетерпеливо закусил губу и стала подкладывать в самовар угли. Она не выносила этого ноющего, тревожного тона профессорши, с вечными страхами за будущее, с нежеланием скрывать от других свои горести и опасения. Разве теперь можно так?

Профессор обратился к Ивану Ильичу:

– Заметили вы, как деревня опустела? Вся молодежь ушла в горы. Это – ответ деревни на мобилизацию краевого правительства. Ни один не явился. Говорят, пришлют чеченцев из Дикой дивизии для экзекуции, решено прибегнуть к самым суровым мерам.

Иван Ильич захохотал.

– Это – Д о б р о в о л ь ч е с к а я армия!

– Да-а... Дело с каждым днем усложняется. Говорят, на днях в деревне были большевистские агитаторы, собрали сход и объявили, чтобы никто не являлся на призыв, что красные войска уже подходят к Перекопу и через две недели будут здесь. А в городе я вчера слышал, когда на лекцию ездил: пароходные команды в Феодосии бастуют, требуют власти советам; в Севастополе порттовые рабочие отказались разгружать грузы, предназначенные для Добровольческой армии, и вынесли резолюцию, что нужно не ждать прихода большевиков, а самим начать борьбу. Агитаторы так везде и кишат.

Анна Ивановна взволнованно сказала:

– Ведь ждали, в Феодосии должен был высадиться греческий десант!

– Да, но высадили его в Константинополе. Там революция, правительство бежало.

– Господи, что это творится в мире! – с отчаянием сказала Наталья Сергеевна. – Неужели союзники бросят нас на произвол! Говорят, французы оставили Одессу... Я все об одном думаю: придут большевики в Крым, – что тогда будет с Митей?

Иван Ильич расхаживал по кухонке. Он угрюмо сказал:

– Охота ему была идти в добровольцы!

– Так ведь вы же знаете его: человек совершенно аполитический. Ему бы только сидеть в кабинете со своими греческими книгами, на уме у него только элевсинские мистерии, кабиры⁷ какие-то. Объявили призыв, – что же мне, говорит, – скрываться, жить нелегально? Я на это неспособен.

У Кати стало неестественное лицо, когда Наталья Сергеевна заговорила о сыне. Она равнодушно спросила:

– Давно он вам не писал?

– Давно. И всё в боях. Так за него сердце болит!

Сильный стук раздался в кухню. Блеснули золотые погоны, молодой голос оживленно сказал:

– Мир вам! Здравствуйте! Папа и мама не у вас?

– Митя!

Все вскочили и бросились навстречу.

Бритый, с тонким и обветренным лицом, с улыбающимися про себя губами, Дмитрий сидел за столом, жадно ел и пил и рассказывал, с жадной радостью оглядывая всех.

Их полк отвели на отдых в Джанкой, он обогнал свой эшелон и приехал, завтра обязательно нужно ехать назад. Он останавливал взгляд на Кате и быстро отводил его. Наталья Сергеевна сидела рядом и с ненасытной любовью смотрела на него.

– Ну что у вас там, как? Рассказывай.

– А вы знаете, оказывается, у вас тут в тылу работают «товарищи». Сейчас, когда я к вам ехал, погоня была. Контрразведка накрыла шайку в одной даче на Кадыкое⁸. Съезд какой-то подпольный. И двое совсем мимо меня пробежали через дорогу в горы. Я вовремя не догадался. Только когда наших увидел из-за поворота, понял. Все-таки пару пуль послал им вдогонку, одного товарища, кажется, задел, – дальше побежал, припадая на ногу.

Катя приглядывалась к Дмитрию. Что-то в нем появилось новое: он загрубел, движения стали резче и развязнее, и он так просто рассказывал о своем участии в этой охоте на людей.

Иван Ильич засмеялся.

– Ого, какой вояка стал!

Профессор поспешно спросил:

– Как дела у вас в армии?

– Знаешь, папа, смешно, но это так: мы там меньше знаем, чем вы здесь.

– Нет, я не про то. Какое в армии политическое настроение? За что вы, собственно, сражаетесь?

Дмитрий неохотно ответил:

– Розно. Есть части, совершенно черносотенные, только о том и мечтают, чтобы ворошить старое, – например, сводно-гвардейский полк, высший командный состав. Но офицерская молодежь, особенно некадровая, почти сплошь за Учредительное собрание.

Иван Ильич захохотал своим раскатистым смехом.

– И вы верите, что вас не проведут на мякине, как наивных воробушков?

⁷ Элевсинские мистерии – ежегодные религиозные празднества в честь Деметры и Персефоны в древнегреческом городе Элевсин; кабиры – в греческой мифологии божества малоазийского происхождения.

⁸ Подпольный съезд большевиков происходил на даче Вересаева 5 мая 1920 года.

Дмитрий слабо и виновато улынулся. Катя размешивала деревянной ложкой заваренные кипятком отруби. Он спросил:

– Что это вы, Катя, мастерите?

– Месиво для поросенка. Сейчас пойду кормить. – Она надела пальто, повязалась платком. – Хотите посмотреть поросенка моего?

– Пойдемте! Давайте, я миску понесу... Мама, мы сейчас.

– Только оденься, холодно.

* * *

Ветер шумно проносился сквозь дикие оливы вдоль проволоочной ограды и бешено бил в стену дачи. Над морем поднимался печальный, ущербный месяц. Земля была в ледяной коре, и из блестящей этой коры торчали темные былки прошлогодней травы.

Катя с Дмитрием зашли по ту сторону дачи. Под лестницею на мезонин был чуланчик, из него несло взволнованное хрюканье и повизгивание.

– Давайте миску. – Катя отперла дверь и исчезла с мискою в темноте чулана. Послышался ее смеющийся голос: – Погоди, дурачок!.. Ах ты, господи! Миску опрокинешь!.. Пошел прочь! Ну, ешь!

Она вышла из чулана. Дмитрий протянул ей обе руки.

– Ну, Катя, здравствуйте!

И крепко пожимал ей руки и смотрел в похорошевшее лицо.

– Рассказывайте, Катя, как вы тут живете.

– Как живу. Я всегда хорошо живу. Может, надоест, а сейчас очень интересно все. Вот поросенок этот, – сколько нового, неожиданного, я и не думала, что свиньи такие умные. Наседка уж сидит на яйцах. В стирке я нашла новый способ. И еще очень интересно в кухне готовить. Вы знаете, – если слушать, у всех вещей свои голоса. Каждая кастрюля на плите, каждая сковорода имеет свой звук. Я, не глядя, слышу, когда закипает молоко, когда каша густеет. Очень интересно в этом шипении и клочкотании ловить чуть слышные живые голоса. И новые кушанья выдумывать. Не видишь времени. Дни, как стрелки: проносятся, – жжик, и падают.

Дмитрий смотрел на нее говорящими глазами и улыбался.

– Смотрю я на вас, и мне вспоминается Паскаль⁹. Он говорит, что мысль наша всегда обращена к прошедшему и будущему, а о настоящем мы никогда не думаем, и поэтому никогда не живем, – только все надеемся жить... А вот вы это умеете, – из всего извлекать настоящее. Как это редко!

– Ну, Дмитрий, это все пустяки. Расскажите про себя. Правду. Что у вас?

– Что у нас... Катя, так скверно, так скверно, что хуже и нельзя! Нигде никаких решительно корней, народ относится к нам враждебно, весь пропитан большевистской злобой, совершенно одичал, звериные стали глаза и звериные алчные лапы, – только рвать, забирать себе все, что увидят. И сам тоже звереешь. Кругом кровь, грязь без конца. И в каком-то далеком прошлом представляется, – лампа с зеленым абажуром, Эсхил, Гераклит, несравненный мой Эрвин Роде, Виламовиц¹⁰. И кажется, – никогда уже, никогда это никому не будет нужно. Происходит новое нашествие варваров. Ведь, по существу, это война против культуры, против всех высших духовных ценностей. Вместо науки – публицистика «Правды», вместо поэзии – Демьян Бедный, вместо живописи – толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах.

⁹ Паскаль Блез (1623—1662) – выдающийся французский математик и физик, философ.

¹⁰ Эсхил (525—456 до н.э.) – великий древнегреческий драматург; Гераклит Эфесский (ок. 530—470 до н.э.) – древнегреческий философ-материалист, представитель античной диалектики; Эрвин Роде (1845—1898) – немецкий филолог-классик, друг Ницше; Виламовец-Мёллендорф Ульрих (1848—1931) – немецкий филолог-эллинист.

– Дмитрий, нельзя так. Это же временное.

– Временное? А культура гибнет, кругом всё разрушают, жгут, развешивают. Что мне до того, что в свое время пришло Возрождение? А Венера-то Милосская – без рук, фидиевы скульптуры безголовые, от Архилоха, Сафо, Гераклита¹¹ остались одни клочья. А главное, и в народ я теперь потерял всякую веру. Теперь он открыл свой подлинный лик – тупой, алчный, жестокий. Какой беспросветный душевный цинизм, какая безустойность! В самое дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо, – в Бога его! А он заломил козырек, посвистывает и лушит семечки. Что теперь когда-нибудь скажут его душе Рублев, Васнецов, Нестеров¹²?

Растрепанные тучи мчались по небу, бесшумные и стремительные. Ветер, как взбесившаяся хищная птица, налетал из-за угла, толкал обоих в спину и начинал яростно трепать оледенелые ветки акаций и тополей.

– Холодно вам, Дмитрий? А правда, не хочется уходить?

– Ничего, пусть холодно.

– Вот что. Пойдем на террасу. Она на юг, там тихо.

Стульев не было на террасе, был только большой садовый стол. На столе кучами лежала мерзлая земля, черепки разбитых садовых горшков, путаная мочала. Шум ветра был меньше слышен, но зато море грохотало. Под студено-зеленоватым лунным светом белые водяные горы вырастали, казалось, перед самой террасой и вдруг проваливались куда-то.

– Дмитрий, зачем вы все-таки идете вместе с ними? Неужели вы не чувствуете, за что борются ваши?

Дмитрий озлобленно ответил:

– За что бы ни боролись! С кем угодно, только против этих мерзавцев!.. Ох, Катя, вы их тут не знаете, в своем далеке. Если бы увидели своими глазами, – прокляли бы жизнь, прокляли бы все на свете... – Он взволнованно замолчал. – Я никому не хотел рассказывать, – ну, вам расскажу. Только не говорите никому. Я тут привез Агаповым кой-какие вещички их убитого сына Марка. Он убит, да. Но как... Под Татаркой был у нас бой. Впереди матросы шли на нас, в кожаных куртках, – сомкнутой колонной, по германскому образцу. Нужно отдать справедливость, – как львы, шли под пулеметным огнем. К вечеру разбили нас и погнали. Ротный наш командир упал с простреленной ногою, махнул нам рукой и устроил себе смерть под музыку.

– Это что такое?

– Ручную гранату под голову, дернуть капсюль – и трах!.. Это у нас называется смерть под музыку. Чтоб живым не попасться в их руки... Рассеялись мы во все стороны. Едет в тачанке мужчина мещанистого вида. Револьвер ему ко лбу, снял с него пиджак, брюки, переделся и побежал балкою.

Катя вздрогнула.

– Вот вы еще чем можете возмущаться! – улыбнулся Дмитрий. – Вижу, тащится Марк, на руке несет свою другую руку, раздробленную в локте. Повел его. Уж ночь. Вдали лай собак, огни. Осторожно подходим, вдруг: «Стой! Кто идет?» Взяли нас, повели. Железнодорожный полустанок, весь зал набит матросами. Огромный, толстый матрос, – я бы под мышку подошел ему, – подходит ко мне: «Кто такой?» – Мещанин, говорю, мелитопольский. Вижу, раненый человек, повел его, не знаю, кто таков. – «А-а, – говорит, – ваше благородие!» Развернулся и кулаком Марка в ухо.

– Раненого?

¹¹ Фидий (нач. V в. до н.э. – ок. 432—431 до н.э.) – древнегреческий скульптор периода высокой классики; Архилох (середина VII в. до н.э.) – древнегреческий поэт; Сафо (Сапфо) (конец 7—6 вв. до н.э.) – древнегреческая поэтесса.

¹² Рублев Андрей (род. ок. 1360 – ум. 1430) – русский живописец, монах Андроникова монастыря; Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) – русский живописец; Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) – русский художник.

– Раненого. Пошел он летать под кулаками и пинками по всему залу. Перебитая рука мотается, вопль, – понимаете, животный вопль зверя, которого забивают насмерть...

Катя глухо застонала.

– Не надо!

Дмитрий беспощадно продолжал:

– Скоро замолк, а тело все летает из конца в конец. Тяжелыми сапогами с размаху в лицо, хохот, грубые шуточки... Толстый ко мне: «Ну-ка, товарищ, пойди сюда!» Руку мне за пазуху. Нашупал во внутреннем кармане жилетки бумажник, вытаскивает. А там удостоверение мое, – поручик Дмитриевский. Развернулся наотмашь, и дальше я ничего не помню... Очнулся в комнате кассира, в окошечко билетной кассы из зала свет. Лежит рядом Марк с раздутым, черным лицом, со стеклянными глазами, уж не дышит. Ощупываю себя. Тело ноет, но кости целы. Вдали выстрелы, все ближе. Пулемет затрещал, звенят разбитые стекла. Суматоха, матросы попадали на пол. – «Это недоразумение! Свои!» Комиссар к телефону. Вдруг – «ура!» Нет, не «свои»... Граната ручная в залу, матросы поскакали в окна, выстрелы, лампа упала и потухла. Открывается дверь, входят двое в нашу комнату, один нажал кнопку электрического фонарика карманного, свет упал на его рукав, – череп с перекрещенными мечами. Марковцы!..¹³ Я хотел крикнуть, и только мог застонать. Они назад. – «Господа! Тут еще т о в а р и щ и!» Я собрал все силы, крикнул: «Свои! свои!» И опять потерял сознание.

Он замолчал. Катя вздрагивала короткими толчками всего тела.

Ветер завывал и с шумом пронесся поверху. Чудовищные волны лезли на берег, шипели пеною, разбивались с гулким, металлическим звоном и, задохнувшись, ползли назад.

– И вот теперь, Катя, подумайте...

– Не надо говорить... – Катя блуждала вокруг глазами. – Что это за звон кругом? Такой нежный-нежный?

Дмитрий с недоумением смотрел на нее.

– Я не слышу. Море гудит.

Катя настойчиво сказала:

– Нет, другой какой-то звон. Стеклянный, особенный.

– А ведь правда.

– Ах, вот что! Это ветки оледенелые звенят... Как странно!

Они подошли к перилам. Ледяшки, облепившие ветки акаций, стукались под ветром друг о друга, и мелодический, тихий, хрустальный звон стоял в воздухе, независимый от медного рева моря.

– Пойдем, – сказала Катя.

Они пошли. За домом рев моря стал глуше, и яснее раздавался по всему саду таинственный, нежный хрустальный звон.

Катя остановилась.

– Дмитрий! – Она, задыхаясь, смотрела на него. – Митя. Милый мой! Так вот что тебе приходится там...

Она вдруг охватила его шею руками и крепко поцеловала.

– Катя!

Девушка припала к его плечу, он заглядывал в ее румяное от холода, небывало прекрасное лицо и целовал в губы, в глаза.

¹³ Белогвардейские части, названные в честь генерал-лейтенанта деникинской армии Маркова С.Л. (убит 12.06.1918 г.).

Катя, спеша, развешивала по веревкам между деревьями сверкающее белизною рваное белье. С запада дул теплый, сухой ветер; земля, голые ветки кустов, деревьев, все было мокро, черно и сверкало под солнцем. Только в углах тускло поблескивала еще ледяная кора, сдавливавшая у корня бурые былки.

Пришел наконец штукатур Тимофей Глухарь с сыном Мишкой. Иван Ильич сговорился с ним.

– Ладно, пятьдесят рублей. Только уж хорошенько все замажьте, перемените, где нужно, черепицы. Года два, говорите, простоит крыша?

– И пять простоит, ручаюсь вам... Где известка? Мишка, пойдем.

Они замешивали известку. Иван Ильич спросил:

– Вы, говорят, большевик?

Тимофей поспешно ответил:

– Какой я большевик, что вы! Хулиганье это, мошенники, – слава богу, нагляделись на них.

– А ведь вы были в революционном комитете при первом большевизме.

– Заставили идти, что ж было делать? Не пошел бы – на мушку. А мне своя жизнь дорога.

Иван Ильич обрадовался и стал рассказывать о большевистских зверствах в России, о карательных экспедициях в деревнях, о подавлении свободы мысли среди рабочих, о падении производительности труда, о всеобщем бездельничестве.

Глухарь поддакивал.

– Это действительно! Да, конечно! Разве наш народ на всех станет работать! Каждый только и норовит для себя урвать.

Парень Мишка с неопределенною усмешкой слушал.

Катя развесила белье и поспешила к Дмитриевским.

Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете готовился к лекции.

– А где Дмитрий?

– Дрова колет в сарае, сейчас придет. – Наталья Сергеевна почему-то сильно волновалась. – А вы знаете, мы вчера с Митей засиделись до пяти часов утра.

В дверь постучались. Срывающийся женский голос спросил:

– Можно войти?

Наталья Сергеевна побледнела.

– Княгиня. Вы знаете, я ей утром письмо-таки послала. Ах, боже мой!.. Можно, можно!

Растерянно улыбаясь, она суетливо пошла к двери. Княгиня вошла, – с огромными, широко открытыми глазами, с не улыбающимся лицом.

– Наталья Сергеевна! Я сейчас получила ваше странное письмо... Как вам это могло прийти в голову? Да разве бы я позволила себе так шутить с вами?.. Хорошо ли вы везде искали?

– Кажется, все переглядела.

– Ведь вы, я помню, на туалет кольцо положили. Отодвигали вы туалет?

Наталья Сергеевна поспешно ответила:

– Нет.

– Позвольте, я посмотрю.

Княгиня стала отодвигать туалет. Наталья Сергеевна продолжала сидеть на месте.

– Ну, так и есть! Вот же оно! У плинтуса лежало, среди сора.

Она поднялась и протянула кольцо.

– Ах, так вот, где было... Да. Да.

Наталья Сергеевна взяла кольцо, избегая смотреть княгине в глаза. И та тоже не смотрела. И говорила облегченно:

– Ну, вот! Слава богу! Я так рада... И как вы могли подумать, что я стала бы с вами так шутить. Не хватало бы, чтобы вы меня в краже заподозрили! – весело засмеялась она.

– Что вы, княгиня! – всполошилась Наталья Сергеевна.

Княгиня посидела немножко и ушла. Из кабинета вышел профессор и остановился на пороге. Молчали. Катя спросила:

– А вы смотрели за туалетом?

Наталья Сергеевна заговорщицки ответила:

– Все-все пересмотрела! Несколько раз отодвигала. И сору-то там никакого уже не было, я все вымела. А она так сразу и нашла!

Профессор поморщился и пошел обратно к себе в кабинет. Вошел с террасы Дмитрий.

– Ну, мама, дров наколот тебе на целый месяц. А-а, Катя!.. Мама, мы сейчас пройдемся, мне нужно отнести Агаповым вещи Марка.

– Скорей только возвращайтесь. Через полчаса завтрак будет готов.

Катя с Дмитрием вышли. Дмитрий сказал:

– Забыл я топор в дровяном сарае. Зайдем, я возьму.

В сарае Дмитрий обнял Катю и стал крепко целовать. Она стыдливо выпросталась и умоляюще сказала:

– Не надо!

– Ну, Катя...

– Вот сколько ты дров наколот!.. Где же топор?

– Э, топор! Его вовсе тут и нету.

Дмитрий крепко сжимал Кате руки и светлыми глазами смотрел на нее. Она сверкнула, быстро поцеловала его и решительно двинулась к выходу.

– Пойдем!

Они пошли вдоль пляжа. Зелено-голубые волны с набегавшим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и теплый золотой ветер ласкал щеки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

– Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка, – это что-то такое огромное, – как будто все эти горы вдруг сдвинулись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, все жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанес, – это еще ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда все понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьезным лицом, с улыбающимися для себя тонкими губами.

– Это оригинально.

– Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы, – они били, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы – «наемники буржуазии» и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты, Митя, – скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идешь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и растерянность, как всегда при таких разговорах.

– Это, Катя, сложный вопрос.

– Ничего не сложный.

Дмитрий украдкой оглянулся, поднес Катину руку к губам и шепотом сказал:

– Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени, – давай забудем обо всем. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего, все равно, не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдем.

– Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

– Хорошо. Только отдам, и сейчас.

Он ушел. Садовник вскапывал клумбы у широкой террасы. Маленькая, сухая Гуриенко-Домашевская стояла у калитки своей виллы и сердито кричала на человека, сидевшего на скамеечке у пляжа.

– Пьянчужка несчастный! Тут тебе не кабак! Думаешь, большевики близко, так и нахальничаешь! Подожди, пока твои большевики подойдут!

Человек на скамейке отругивался. Катя узнала пьяницу столяра Капралова, сторожа Мурзановской дачи. Гуриенко ушла. Катя подошла к нему.

– Чего это она?

– Хе-хе! Ч-чертово окно! Пошел, говорит, прочь отсюда, мужик! Не смей тут петь, мне беспокойство!.. Да разве я у тебя? Я на бережку сижу, никого не трогаю... Какая язвенная! Сижу вот и пою!..

Мой полштоф в кармане светит,
Рюмки гаснут на носу,
Ночью нас никто не встретит,
Мы проспимся на мосту...

– Ты, говорит, большевик! Нет, я говорю, я не большевик. А все-таки, когда большевики придут, – ей-богу, голову тебе проломлю.

– А вы не большевик?

– Нет, не большевик! Когда в летошнем году экономию Бреверна разносили, я им прямо объяснил: то ли вы большевики, то ли жулики, – неизвестно. Тащит каждый, что попало, – кто плуг, кто кабанчика; зеркала бьют. Это, я говорю, народное достояние, разве так можно? Вот дайте мне бутылочку винца, – очень опохмелиться хочется. «Ишь, – говорят, – какой смиренный!» Да-а... А вы что такое делаете? За это они меня теперь ненавидят... Жизнь разломали, – как ее теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское дело! Брат на брата, товарищ на товарища!

Глаза у него были умные и серьезные, тою интеллигентною серьезностью, при которой странно звучало: «каждый» и «в летошнем году». Катя из глубины души сказала:

– Ах, Капралов, зачем вы пьете!

– Гм! Как пью, – все видят. А как работаю, – никто не замечает!

* * *

– Катерина Ивановна!

К ним бежала от дачи Ася Агапова.

– Катерина Ивановна! Мы арестовали Дмитрия Николаевича, не выпускаем его, пока не выпьет кофе. А он рвется к вам, совесть его мучит, и кофе останавливается в горле. Сжальтесь над ним, зайдите к нам!

Была она хорошенькая и вся сверкала, – глазами, улыбкою, открытой шейкою. Катя увидела, что не отделаешься, и встала. Капралов, когда она с ним прощалась, придержал ее руку.

– А только все-таки имейте в виду: будет народное одоление. Все равно, как мошкара поперла. Нет сильнее мошки, потому, – ее много. А буржуазии – горстка. И никогда ей теперь не одолеть. Проснулся народ и больше не заснет.

У Агаповых было чисто, уютно и тепло, паркет блестел. На белой скатерти ароматно дымился сверкающий кофейник, стояло сливочное масло, сыр, сардинки, коньяк. Деревенский слесарь Гребенкин вставлял стекла в разбитые окна.

Катя со всеми поздоровалась, подошла и к Гребенкину, протянула ему руку.

– Александр Васильевич, вы разве и стекольщик? Ведь вы же слесарь?

Гребенкин, с впалою грудью, исподлобья взглянул обрадованными глазами и развязным от стеснения голосом ответил:

– Я на все руки мастер: и слесарь, и стекольщик, и огородник, и спекулянт.

– Катерина Ивановна, садитесь кофе пить, – позвала г-жа Агапова.

Катя чувствовала, – всем стало враждебно-смешно, что она поздоровалась с Гребенкиным за руку.

Г-жа Агапова рассказывала Дмитрию, как ночью кто-то выбил у них на даче стекла, как ограбили по соседству богатого помещика Бреверна.

– До чего дошло! До чего дошло! А как мы все радовались революции. Я сама ходила в феврале с красным бантом...

Муж ее, невысокий, с остриженной под машинку головою и коротко подрезанными усами, курил сигару и ласково улыбался.

– Ну что же, ну, говорите нам прямо: как у вас дела в армии? – допрашивала Агапова. – Сумеете вы нас защитить или нет?

Дмитрий посмеивался.

– Сумеем!

Чахоточный адвокат Мириманов, – у него была в поселке дачка, и он по праздникам наезжал из города отдохнуть, – покосился на стекольщика и знающим голосом тихо сказал:

– Скоро уж не будет надобности вас защищать.

– Почему?

Мириманов посмеивался своими умными глазами.

– Скоро все так переменится, что вы даже не ожидаете. – Он помолчал. – Ленин уже два месяца ведет тайные переговоры с великим князем Борисом Владимировичем. Будет инсценирован государственный переворот. Идейные вожаки большевизма заблаговременно исчезнут, а всех скомпрометированных прохвостов оставят на расправу, чтобы окружить большевизм мученическим ореолом и уйти с честью. Ленин, Троцкий и другие получают пожизненную пенсию по пятьдесят тысяч рублей золотом и обязуются уехать в Америку.

– Дай-то бог! – вздохнула Агапова. – Там с ними уж легче будет управиться.

Борис, племянник Мириманова, шушукался с Асею. Лицо у него было бледное, а глаза томные и странно-красивые. Барышни Агаповы сверкали тем особенным оживлением, какое бывает у девушек только в присутствии молодых мужчин. Они изящно были одеты, и красивые девические шеи белели в вырезах платьев. Глаза их, когда случайно останавливались на Кате, вдруг гасли и становились тайно скупающими и маловидящими.

Катя решительно отказалась от кофе, – потому что она была голодна, потому что ей очень хотелось всего этого вкусного после мерзлой картошки и чаю из шиповника. Дмитрий сидел с Майей, сестрой Аси, они с увлечением говорили о несравненной красоте православного богослужения. Майя смотрела медленными, задумчивыми глазами Магдалины, под взглядом которых так хорошо говорится.

Ася села за рояль и стала петь. Все песни ее были какие-то особенные, тайно дразнящие и волнующие. Пела об ягуаровых пледах и упоительно мчащихся авто, о лиловом негре из Сан-

Франциско, о какой-то мадам Люлю, о сладких тайнах, скрытых в ласковом угаре шуршащего шелка, и обжигающе призывен был припев:

Мадам Люлю,
Я вас люблю!
Ей шепчут страстно и знойно...

Остро вспыхивали брильянты в серьгах Аси. И была дурманящая, сладострастно ластящаяся красота в ее песнях. И только мешал шум стекольника и его чахоточный, как будто намеренно громкий кашель.

И сверкало солнце. И мягко качались за окнами малахитово-зеленые волны. На Катю музыка всегда действовала странно: охватывало сладкое, безвольное безумие, и душа опьяненно качалась на колдовских волнах, без сил и без желания бороться с ними.

Подошел Дмитрий. От него слегка пахло дорогим коньяком. Он сказал извиняющимся голосом.

– Пять минут еще посидим и уйдем. Знаешь, после бивачной жизни так приятна эта чистота, блеск, эти оживленные лица...

Старик Агапов тоже подошел.

– Странно, знаете, слушать... Девочка, с ее чистой душой, совсем сама не понимает, что поет. Вон, послушайте-ка!

И, благодушно улыбаясь, он потирал руки.

Ах где же вы, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Изящный, как духи, как песенка без слов?
Такой беспомощный, как дикий одуванчик...¹⁴

Гребенкин прервал пение намеренно громким, ни с чем не считающимся голосом:

– Хозяин, эти стекла коротки, – наставить кусок, или есть у вас стекла побольше?

Агапов, мягко улыбаясь, подошел к нему.

– Нет, побольше нету. Уж наставьте, ничего не поделаешь.

Потом, как-то странно нараспев, читал стихи Борис, племянник Мириманова. И стихи все были такие же, говорившие о легком, бездумном веселье, праздной и богатой жизни, утонченно-сладострастном соприкосновении мужчин и женщин.

«В группе девушек нервных, в остром обществе дамском Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!...»¹⁵

Голос красиво и гибко пел и баюкал на мелодических стихах. Катя вдруг отдала себе отчет, почему у этого Бориса глаза так странно красивы и томны: они были искусно подведены снизу тонкою черною черточкой.

Катя с Дмитрием уходили. Барышни убеждали его отложить отъезд до завтра.

– Нынче именины Гуриенко-Домашевской, вечером все будут у нее. Она будет играть; Белозеров, наверно, придет, будет петь.

– Нельзя. Сегодня вечером должен быть в полку.

Они вышли. Катя жадно дышала морским ветром, с души смывалась колдовская красота баюкающей музыки. Она вздрагивала плечами и повторяла:

¹⁴ Песня из репертуара А. Вертинского.

¹⁵ Из стихотворения И. Северянина «Увертюра».

– Какая гадость! Какая гадость!

Дмитрий удивленно спросил:

– Что гадость?

– Все! Все! Почему гниль может быть такой красивой и душистой? Как будто парфюмерный магазин, где все дорогие духи разбились и пролились, и кружится голова, и не хочется уходить, и вдруг – солнце, ветер, простор... Ах, как хорошо!

Дмитрий слушал с улыбающимися про себя губами. В голове приятно кружилось от коньяку, сверкали пред глазами зовущие девичьи улыбки, было сладкое ощущение покоя и уюта.

– И за них-то вот бороться! Как она спрашивала: «Сумеете вы нас защитить?» А тебе не хочется, когда ты смотришь на них, чтоб все это взлетело к черту, чтоб развалилась эта ароматно-гнилая жизнь?

Дмитрию хотелось закрыть душу от рвавшегося в нее из Кати буйно-злобного вихря, и не чувствовалось способности защищать эту жизнь, к которой, однако, в нем не было ненависти. Он взял в руки Катину руку и устало улыбнулся:

– Катя! Мне так ничего не хочется! Так не хочется! Одного только хочется: чтоб был мне какой-нибудь тихий уголок, чтоб никто не тревожил и чтоб переводить Прокла¹⁶.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...¹⁷

Не пожелал бы я никому этого блаженства!

– Неужели же тебе не интересно сейчас жить?

– Совсем не интересно. Гораздо интереснее было бы изучать все это, как давно минувшее.

Катя впилась в него пристальным, изучающим взглядом, от которого ему стало неловко.

– За что я полюбила тебя? – спросила она как будто саму себя. И вдруг увидела его бесконечно усталое лицо, умный, прекрасно сформированный лоб, что-то детски беспомощное во всей фигуре, – и горячий, матерински нежный огонек вспыхнул в душе.

Они шли тесно под руку по песку вдоль накатывавшихся волн. Дмитрий, с раскрывшейся душою, говорил:

– ...какая-то полная атрофия активности. Там, где нужно мыслить, изучать, искать, у меня энергия неистощимая. Но где в жизни хоть шаг нужно сделать самостоятельный, меня отчаяние охватывает, и сама жизнь становится скучной, грубой и темной...

* * *

– Что же это такое?

– Как, что такое?

– Вы же ничего не сделали. Как было, так и есть.

– А это что? Тут какая щель была, ай забыли? Везде, где нужно, подмазали. Что вы такое выдумываете!

– Ну, вот, посмотрите: даже небо сквозь щель видно.

– Так эта щель вбок идет. Будьте покойны, в нее вода не зальется, ручаюсь вам. Если хоть капля протечет, вы за мною пошлите, я вмиг заделаю.

– Ну, вот сейчас вмиг и заделайте.

¹⁶ Прокл (ок. 410—485) – греческий философ-идеалист.

¹⁷ Из стихотворения Ф.И. Тютчева «Цицерон» (у поэта «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»).

– Ах-х ты, господи! Ведь вот народ! Чтоб этих щелей не было, всю крышу надо перекрывать, я же вам сказывал.

– Вы мне сказывали, что крыша пять лет простоит.

Мишка, как молодой петушок, учащийся петь, сказал:

– Нешто по крыше такой можно лазать? Две черепицы примажешь, а заместо того десять подавишь.

– Э, Мишка, пойдем! Не надо нам ваших пятидесяти рублей. Рады прижать рабочего человека. Эксплоататоры!

– Ваших мне пятидесяти рублей не нужно...

Катя прервала отца.

– И правильно! Конечно, не нужно давать. Сами же они видят, что ничего не сделали.

– Не сделали! Для хозяйского глаза все мало. За грош рады всю кровь высосать из рабочего человека!

Иван Ильич с отвращением молчал и доставал деньги.

– Да зачем же, папа, ты даешь? Пусть суд установит, – стоит эта работа пятьдесят рублей?

– Э, пусть его совесть это устанавливает!

Иван Ильич, не глядя на Глухаря, протянул деньги. Глухарь сунул их в карман и ласково сказал:

– Если печечку занадобится поправить, или потолок заштукатурить, вы пришлите. Мы это тоже можем. До свидания!

Катя напала на отца: как можно было давать деньги за такую работу! Пусть бы в суд подавал!

– Катенька! Смотреть противно! Ну его к черту, только бы с глаз долой!

– Ах, эти интеллигенты наши мягкие! На казнь пойдет, – не дрогнет. А что несправедливо назовут эксплуататором, – нет, уж лучше что угодно! Пусть лучше первый жулик обирает средь бела дня, как дурачка!..

Катя порывисто повернулась и пошла в дом.

* * *

Гуриенко-Домашевская, известная пианистка, была именинница. Маленькая и сухая, с огромными черными глазами, она с привычно преувеличенным радушием артистки встречала гостей и каждому говорила приятное.

Сидели в просторной, богато обставленной зале и пили чай. Стол освещался двумя кухонными лампочками со стеклами. Чай разливался настоящий. На дне двух хрустальных сахарниц лежало по горсточке очень мелко наколотого сахара. Было в волю хлеба и сыра брынзы, пахнувшего немывыми овцами. Стоял десяток бутылок кислого болгарского вина.

С горько-юмористической хвастливостью хозяйка говорила:

– Вы посмотрите только, вы посмотрите, господа: какое царское освещение! Какие яства! И чай – настоящий! И даже сахар к нему! Роскошь-то какая... Нужно же перед голодной смертью попить, как следует, всю!

И в голосе ее было: да, я, знаменитая артистка, имя которой встречается во всяком энциклопедическом словаре, – вот как я принуждена жить и вот что ожидает меня по чьей-то чудовищной несправедливости.

– Не правда ли? Нужно благодарить Бога. То ли еще бывает! Певец Беркутов умер в Петрограде от голода, скрипач Менчинский повесился в Москве... Буду и я ждать, что мне готовит судьба...

Возле Кати сидел молчаливый инженер Заброда, с светло-голубыми глазами и длинной шеей чахоточного. Специальности своей он не любил и пятый год на грошовом жаловании

работал бухгалтером в деревенском кооперативе. Через Катю он наклонился к Ивану Ильичу и шепотом спросил вполголоса:

– Вы получили приглашение на организационное собрание отдельного кооператива дачников?

– Да. В чем тут дело?

– Я хотел об этом поговорить с вами. Гуриенко-Домашевская, Агапов и другие задумали основать дачный кооператив, чтоб отделиться от деревни. Мотивируют тем, что крестьяне неохотно пропускают в правление интеллигенцию и закупают только то, что нужно им самим.

– И верно! – подтвердила Катя. – Мука и ячмень, например, у них у самих есть, они их в потребилке и не держат, а мы нигде не можем достать.

Заброда сурово поглядел на нее.

– Можно их убеждать. Но отделиться – значит загубить деревенский кооператив.

Иван Ильич решительно сказал:

– Не годится!

– И потом: как же интеллигенцию не пропускают? Председатель правления – Белозеров¹⁸.

– Ах, Белозеров ваш, – воскликнула Катя. – Певец он, конечно, великолепный. Но не нравится он мне. Ищет популярности и во всем поддакивает мужикам. А у самого почему-то всегда все есть, – и мука, и сахар, и керосин. А мы ничего не можем достать.

Местный дачевладелец, о. Златоверховников, с наперсным крестом на георгиевской ленте, рассказывал о большевиках. Он был полковым священником в одной из добровольческих частей и на неделю приехал к себе отдохнуть. Большой, крепкий, с крупными чертами лица, он говорил четким, крепким басом. Недавно под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника, а в алтаре устроили пирушку с девками. Священник был старик, уважаемый всею паствою. «Товарищи» приставили к нему караул и никого не подпускали. Он пять дней висел на гвоздях и умер от жажды.

Катя засмеялась.

– По крайней мере раз пятьдесят я уже слышала про этого распятого священника и девок в алтаре, и всё в разных городах.

О. Златоверховников замолчал и внимательно поглядел на Катю.

– Удивительного ничего нет. Во многих городах они это и делают.

И отвернулся. Забрда наклонился к Кате.

– Вы при нем поосторожнее. Он – «даровой сотрудник», в постоянных сношениях с контрразведкой. Доносы написал на полдеревни. Я ему руки не подаю.

Катя прикусила язык. Она заметила, что и все говорили при нем с опаскою.

О. Златоверховников продолжал рассказывать:

– Только удивляться приходится, какое это дикое зверье. Хуже зверья! Кончен, например, бой. Обыкновенно у всех в это время только одно желание: отдохнуть. А они первым делом бросаются раскапывать могилы наших и начинают ругаться над трупами. Находят на это силы! А уж про раненых – что и говорить!

Адвокат Мириманов, со своею знающею улыбкою, заставлявшею всех ему верить, рассказал, что недавно в Москве предполагался съезд Коминтерна. Пред открытием заграничных рабочих-делегатов пригласили на банкет. Фрукты, цветы зимою, шампанское. Декорированные комиссарши. Рабочие поглядели... «Россия ваша погибает от голода и холода, вы выдаете рабочим по полфунта хлеба с соломою, а сами пьете шампанское! Теперь мы знаем, что такое ваш коммунизм». И уехали обратно.

И много все рассказывали.

¹⁸ Прототипом Белозерова является ленинградский певец Касторский.

Как всегда, очень поздно пришел Белозеров, артист государственных театров. Бритый, с желтоватым лицом, с пышными, мелко выющимися волосами. Его встретили радостными приветствиями. Добродушно и сдержанно улыбаясь, он здоровался. Барышни восторженно смотрели на него.

Хозяйка спросила:

– Вы сегодня из города. Что новенького?

Белозеров взглянул на о. Златоверховникова.

– Вот, батюшка, наверно, больше осведомлен. В городе потру-хивают, слухи самые фантастические. Должно быть, так, беспричинные?

О. Златоверховников сказал веско:

– Работа агитаторов большевистских. Дела очень прочны. Вся паника оттого, что войска отступили к Перекопу. Но Перекоп, это – Фермопилы¹⁹, один полк легко может задержать целую армию. А Деникин тем временем совершает перегруппировку войск.

Белозеров принял из рук хозяйки стакан чаю и подсел к красавице княгине Андожской. Сейчас же, как мухи каплю сиропа, его кольцом обсели дамы.

О. Златоверховников простился и ушел. Белозеров проводил его глазами и потом сказал встревоженно:

– Дела, господа, очень плохи. Не сегодня завтра большевики будут по эту сторону Перекопа. В городе паника. Сорок банкиров и фабрикантов наняли за двести тысяч отдельный паром и собираются уезжать.

Гуриенко-Домашевская желчно засмеялась.

– То-то, должно быть, наш большевик деревенский радуется, Афанасий Ханов! Опять его пора приходит... Одного я не понимаю: как его добровольцы не повесят? При первом большевизме был комиссаром уезда, а спокойно расхаживает себе на воле, и никто его не трогает.

Профессор Дмитревский сказал:

– Это прекраснейший человек. И очень интересный, с ищущей душой.

Хозяйка низко поклонилась Дмитревскому.

– Очень вас благодарю, профессор, за эту прекрасную душу! Когда был комиссаром, встречает меня: «Мы вашу дачу, Антонина Павловна, реквизируем под народный дом». – Прекрасно! – говорю. – А свой двухэтажный дом в деревне вы подо что реквизируете?

– И свой бы дом реквизировал. Вы знаете, ведь он нижний этаж его отдал под кооператив даром, ничего за это не берет.

– Это верно, – подтвердил Заброда.

– Пусть свое отдает! А какое же он имеет право распоряжаться моим? Я тоже тяжелым трудом нажила свою дачу. Никого не экс-плоатировала, все зарабатывала вот этими руками!

Жена профессора вздохнула.

– Да. Другие вот уезжают. А нам приходится тут сидеть и ждать.

Агапов, скромно сидевший с сигарой в уголке дивана, вдруг сказал, ласково улыбаясь:

– Ничего не поделаешь: придется сидеть и ждать. Нужно же сказать правду: идет истинно народная власть. И пусть приходят, я рад. Хоть какой-нибудь порядок.

Все удивленно молчали. Хозяйка, подняв брови, глядела на Агапова.

– Раньше вы, Михаил Михайлович, иначе говорили... Вот как отберут у вас большевики ваш миллион, который вы из Москвы привезли, тогда узнаете, какой порядок.

– Какой миллион? – Агапов весело засмеялся про себя. – Я Бога благодарил, что удалось провезти сорок тысяч. А говорю я с высшей точки. Рад я не рад, а признать нужно, что только у большевиков настоящая сила.

¹⁹ Фермопилы – горный проход из Фессалии (Сев. Греция) в Локриду (Ср. Греция), героическая оборона которого от наступавшей армии персидского царя Ксеркса (480 г. до н.э.) вошла в историю.

Белозеров настороженно прислушивался. Профессор Дмитриевский своим громким, полным голосом сказал:

– Да, печально это, но я с Михаилом Михайловичем вполне согласен. Широкие народные массы за большевиков, – это неоспоримо.

Иван Ильич вскипел:

– Та-ак-с!.. И отсюда выходит, – идти большевикам навстречу? Приветствовать их приход? Если широкие народные массы за еврейский погром, то прикажете мне идти с ними, бить жидов?

Профессор мягко возразил:

– Я этого не говорю. Но борьба с ними бессмысленна и не имеет под собою почвы. Добровольцы выкидывают против них затрепанные, испачканные грязью знамена, и народ к белым откровенно враждебен. Сейчас же только эти две силы и есть. Надо же нам, истинным демократам и социалистам, честно взглянуть правде в глаза, как бы она тяжела ни была.

Заброда неодобрительно замычал. Закипел ярый спор между Иваном Ильичом и профессором. Агапов поддерживал профессора. Мириманов молча слушал, едко улыбаясь про себя. Хозяйка и остальные гости были за Ивана Ильича, но от их поддержки спор все время сбивался с колеи: у них была только неистовая злоба к большевикам, сквозь которую откровенно пробивалась ненависть к пробудившемуся народу и страх за потерю привычных удобств и выгод.

Как только спор стал принимать острый характер и в колющих глазах хозяйки забегали недобрые огоньки, профессор искусно замял разговор и стал просить хозяйку сыграть.

Гуриенко-Домашевская погасила огоньки в глазах и ласково улыбнулась.

– Ну, как хозяйка, уж начну первая. А потом будем просить спеть Владимира Ивановича.

Гуриенко села за рояль. Она играла Бетховена, Шопена. Большие глаза ее засветились загоревшимся изнутри светом и стали прекрасными. И вдруг все злобное, придавленное, испуганное стало таять в людях и испаряться. В полутемной зале засияла строгая, величавая красота.

Кате бросилась в глаза княгиня Андожская. Она грустно сидела, опустив голову на руку, – изящная, с отпечатком тонкой, многовековой культуры в лице и движениях. Но чисто вымытая шея пестрела красными точками от блошинных укусов; красивые руки были красны, в черных трещинках; спереди во рту не хватало одного зуба. И это кольцо! Это кольцо! Как последняя горничная... Пройдет еще полгода, – и вся многовековая культура сползет с нее, как румяна под дождем, станет она вульгарною, лживою, с жадно приглядывающимися исподтишка глазами, – такую, каких она раньше так презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество. Лежит прекрасная лилия, вырванная с корнем, и уж не будет ей жизни, и другие какие-то цветы зацветут на развороченной почве... А возле Белозерова сидели барышни Агаповы. Их еще не коснулось лихолетье: брильянты в ушах, белые ручки, изящные платья... А они, – они тоже уже назади? Или выплывут из моря, куда их сбросит налетающий вихрь, и опять воротятся со своими лиловыми неграми и томно-сладострастными креольчиками?

Гуриенко заиграла «Осеннюю песню» Чайковского. Затасканная мелодия под ее пальцами стала новою, хватающею за душу. Липовые аллеи. Желтые листья медленно падают. *Les sanglots longs des violons de l'automne*²⁰. И медленно идет прекрасный призрак прошлого, прижав пальцы к глазам.

Княгиня низко опустила голову, плечи ее стали тихонько вздрагивать. Катя быстро пересела к ней.

– Ну, княгиня, не надо!.. Я давно на вас смотрю... Нужно стать выше судьбы, нужно бодро нести все, что бы ни послала жизнь...

²⁰ Первая строка стихотворения Поля Верлена «Осенняя песня»: «Издалека льется тоска скрипки осенней...».

Она взяла в руки ее руку и стала нежно гладить. Княгиня удивленно взглянула, – они были едва знакомы, – и вдруг порывисто сжала в ответ руку Кати. И молчала, сдерживая вздрагивания груди, и крепко пожимала Катину руку.

Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлет отрады и забвенья²¹ —

запел Белозеров.

Это был какой-то пир: пел Белозеров, опять играла Гуриенко-Домашевская; потом пели дуэтом Белозеров с княгиней. Гости сели за ужин радостные и возрожденные, сближенные. И уже не хотелось говорить о большевиках и ссориться из-за них. Звучал легкий смех, шутки. Вкусным казалось скверное болгарское вино, пахнувшее уксусом. У Ивана Ильича шумело в голове, он то и дело подливал себе вина, смеялся и говорил все громче. И все грустнее смотрела Анна Ивановна, все беспокойнее Катя.

Расходились. Иван Ильич, с всклокоченными волосами, жарко жал руки Домашевской и Белозерову.

– Спасибо вам, мои хорошие! Встряхнули душу красотой. Легче стало дышать!

* * *

Было тихо, тепло. Ущербный месяц стоял высоко над горами. Впереди по шоссе шли Анна Ивановна и Катя с княгиней, за ними сзади – Иван Ильич, Белозеров и Заброда. Иван Ильич громко говорил, размахивая руками.

У канавки шоссе, близ телеграфного столба, густой кучкой сидели женщины в черных одеждах, охватив колени руками. Месяц освещал молодые овальные лица с черными бровями. Катя вгляделась и удивилась.

– Смотрите! Да ведь это наши деревенские! Васса, Дока! Вы это? Чего вы тут сидите?

Женщины молчали. Наконец одна сказала:

– Дикая орда идет из города.

– Какая дикая орда?

– Один болгарин наш прискакал, подал весть: всех девок себе забирают.

– Да что это за дикая орда?

Деловито вмешался Иван Ильич:

– Не понимаешь! погоди, я сейчас разберу... Это Дикая дивизия, значит, чеченцы. Правильно?

– Ну да.

– Вы-то чего же, красавицы, испугались?

– Наши у фонтана стерегут. Как дадут весть, в горы побежим, в сады.

Иван Ильич захохотал пьяным смехом.

– Да не за вами они идут, дурочки! Они парней идут ловить, что на мобилизацию не явились. Им лучше скажите, чтоб в горы утекали!

Девушки молчали.

– Ну-ну! Сидите уж! Оно, конечно, все-таки вернее и вам уйти... Сидите, девочки мои хорошие!

Пошли дальше. Иван Ильич вздохнул:

– Эх, хорошо бы выпить теперь! Как следует! Так, чтобы этот однобокий дурак на небе заплясал.

²¹ Строки из арии князя Игоря в одноименной опере Бородина.

– Выпить сейчас хорошо, – согласился Белозеров. – Знаете что? Зайдем ко мне. У меня вино есть. Хорошее! Барзак, старый.

– Да неужто?! Благодетель! Вот это так штука!.. Нюра, Катя! – закричал он. – Вы дойдите одни до дому, – ничего, тут недалеко. А мы к маэстро на часок зайдем, по пьяному делу.

Белозеров жил совсем один в маленькой уютной дачке недалеко от шоссе. Месяц светил в большие окна, в углу блестел кабинетный рояль. Белозеров зажег на столе две толстых стеариновых свечи. Осветилась над роялем полированная ореховая рама с Вагнером в берете.

Иван Ильич удивился.

– Ого! Вот буржуй! Как живет! И свечи есть.

Белозеров лихо подмигнул.

– В Петрограде еще запаса, давно. Я человек коммерческий. Покупал у кондукторов по двадцать пять копеек фунт. Столько напас, что пред отъездом с полпуда знакомым распродал по два рубля за фунт.

– Ловко! – расхохотался Иван Ильич. – Слышишь, хохол? – обратился он к Забрوده. – Знакомым по два рубля, а незнакомым, наверно, рубликов по пяти. Вот они где, спекулянты-то!.. Ты, брат, у меня смотри! – погрозил он Белозерову пальцем. – Певец ты божественный, но душа у тебя... по-до-зрительная! Я тебя насквозь вижу!

Белозеров кисло улыбнулся и пошел за вином.

Уж несколько опорожненных бутылок стояло на столе. Свет месяца передвинулся с валика турецкого дивана на паркет. Иван Ильич говорил. Он рассказывал о бурной своей молодости, о Желябове и Александре Михайлове, о Вере Фигнер²², об огромном идеалистическом подъеме, который тогда был в революционной интеллигенции.

– И вот теперь все разбито, все затоптано! Что пред этим прежние поражения! За самыми черными тучами, за самыми слякотными туманами чувствовалось вечно живое, жаркое солнце революции. А теперь замутилось солнце и гаснет, мы морально разбиты, революция заплевана, стала прибыльным ремеслом хама, сладострастной утехой садиста. И на это все смотреть, это все видеть – и стоять, сложив руки на груди, и сознавать, что нечего тебе тут делать. И что нет тебе места...

Дрожащею рукою он налил в стакан вина и жадно отхлебнул.

– А что они с народом сделали, – с великим, прекрасным русским народом! Вытравили совесть, вырвали душу, в жадного грабителя превратили и звериное сердце вложили в грудь.

Иван Ильич поколебался и вдруг решительно махнул рукою.

– Ну, уж все равно! Расскажу вам, что со мною случилось, как сюда ехал... На маленькой станции неожиданно двинулся наш поезд, я прицепился на ходу к первому попавшемуся вагону, вишу на руках и только одним носком опираюсь на подножку. На ступеньках и площадке солдаты, мужики. Никто не двинулся. Ледяной ветер бьет навстречу вдоль вагонов, стынут руки, нога немеет. А наверху – равнодушные лица, глаза смотрят на тебя и как будто не видят, шелуха семечек летит в лицо. «Товарищи, – говорю, – сдвиньтесь хоть немножко, дайте хоть другой ногой на подножку стать. Я только до первой остановки, там в свой вагон перейду...» Молчат, лущат семечки. Кажется, начини кто на их глазах живого потрошить человека, они так же будут равнодушно глядеть и шелуху выплевывать на ветер. И проскочила у меня мысль: вот для кого я всю жизнь мыкался по тюрьмам и ссылкам, вот для кого терпел измывательства станковых и околоточных... Вышел наконец какой-то человек из вагона, крикнул: «Не видите, что ли, человек замерзает на ветру, сейчас сорвется? Сукины вы дети,

²² Желябов Андрей Иванович (1850—1881) – русский революционер-народник, организатор и руководитель партии «Народная воля». Казнен в связи с покушением на Александра II; Михайлов Александр Дмитриевич (1855—1884) – русский революционер-народник. В 1882 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой; Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) – русская революционерка-народница. В 1883 г. приговорена к смертной казни, замененной пожизненной каторгой.

подвиньтесь, дайте место!» И чуть-чуть только пришлось двинуться, – один коленкой шевельнул, другой плечом повернулся, – и так оказалось легко взойти на площадку! А правду скажу: еще бы минута, – и в самом деле сорвался бы, и уж самому хотелось пустить руки и полететь под колеса... К черту жизнь, когда такое может делаться! О, друзья мои! Друга мои милые! Год уж прошел, а все горит у меня эта рана!

Он опустил лохматую голову на локоть; плечи, дергаясь, поднимались и опускались.

Белозеров молча сел к роялю, взял несколько аккордов и запел:

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горяшка не зная...

Иван Ильич изумленно поднял голову.

– Что это? Это наша старая волжская песня, студенческая... Откуда вы ее знаете? Вы разве с Волги сами?

– С Волги. Не мешайте, – строго сказал Белозеров.

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горяшка не зная,
А за волной, волной твоей свободной,
Несется стон, великий стон народный...

Речные просторы чувствовались в голосе, и молодая печаль, и молодая, жаркая ненависть, какую горят только сердца, сжечь себя готовые в жертвенном подвиге. Иван Ильич жадно слушал с полуоткрытым, как у ребенка, ртом.

Ты все несешь, плоты и пароходы,
Что ж не несешь сынам своим свободы?
Тебе простор, тебе гулять приволье;
А нам нужда, и труд, и подневолье...

Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

– Да! И все-таки... Все-таки, – верю в русский народ! Верю! Вынес он самодержавие, – вынесет и большевизм! И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель наш в добре и правде! В вечной народной правде!..

Покачиваясь и поддерживая друг друга, шли они с Забродой по шоссе. Красный полумесяц уходил за горы. С севера дул холодный ветер. Иван Ильич, с развевающимися волосами, – шапку он забыл у Белозерова, – грозил кому-то кулаком навстречу ветру и кричал громовым голосом, звучащим на весь поселок:

– Палачи русского народа!

Вошедши в кухню, он натолкнулся в темноте на составленные стулья, – кто-то на них спал. Голос Кати сказал:

– Папа, это я.

– Чего ты тут улеглась?

– Леонид у нас.

– Леонид? Что ему тут нужно, подлецу?

– Тише, он в моей комнате спит. Приехал, говорит, проведать, отдохнуть.

– Знаю я, зачем он приехал... Приятный сюрприз!

Ворча, он ушел к себе в спальню.

* * *

Проснулся Иван Ильич поздно. Долго кашлял, отхаркивался, кряхтел. Голову кружило, под сердцем шевелилась тошнотная муть. Весеннее солнце светило в щели ставень. В кухне звякали чайные ложечки, слышался веселый смех Кати, голос Леонида²³. Иван Ильич умылся. Угрюмо вошел в кухню, угрюмо ответил на приветствие Леонида, не подавая руки.

Катя оживленно болтала, наливала Леониду чай, подкладывала брынзы.

– Ешь! Как ты похудел! И даже седины в волосах. Это в двадцать восемь лет!

Иван Ильич, – мрачный, с измятой бородой, – пил чай и молчал.

Катя взяла с холодной плиты миску с ячменным месивом.

– Подожди минутку, сейчас поросенку дам поесть, приду.

И ушла. Иван Ильич хмуро спросил:

– Ты из Совдепии?

– Да.

– Зачем приехал?

– Вас проведать. Отдохнуть. Устал.

Иван Ильич приглядывался к нему: по-прежнему в темных волосах – ярко-седой клочок над левым виском; добродушные глаза, добродушный голос, но губы решительные и недобрые.

Воротилась Катя. Она очистила кухонный стол, выложила из кошелки семь цыплят и стала их кормить рубленым яйцом.

– Вчера вылупились. Посмотри, какие.

– Прелесть!

– Правда, как будто пушистые желтые яички на ножках? И такие серьезные, серьезные!

Леонид взял цыпленка, закрыл его ладонями и стал нежно на него дышать.

– Ты знаешь, я решила в этом году завести полсотни кур. Будем жить куриным хозяйством. Противно смотреть на дачников, – стонут, ноют, распродают последние простыни, а сидят сложа руки. Будем иметь по несколько десятков яиц в день. Сами будем есть, на молоко менять, продавать в городе. Смотри: сейчас десяток яиц стоит 8—10 рублей...

Ивану Ильичу было досадно, что Катя с таким увлечением посвящает в свои хозяйственные мечты этого чужого ей по духу человека. Он видел, с какою скрытою усмешкой слушает Леонид, с добродушною усмешкою взрослого над пустяковою болтовней ребенка. А Катя ничего не замечала и с увлечением продолжала говорить. Иван Ильич ушел к себе и лег на кровать.

– Еще я кабанчика откармливаю, осенью зарежем, – на всю зиму колбасы будут, ветчина, сало. А какие умные свиньи! Вот я никогда раньше не думала. Одно из самых умных животных... Хочешь, я тебе свое хозяйство покажу?

Леонид вскочил на ноги.

– Покажи.

Лицо его сморщилось от неожиданной боли, но он поспешил разгладить морщины.

– И хозяйство твое, и вообще всю вашу дачку. Ведь я ее еще не видел.

Они вышли в сад. Леонид слегка прихрамывал. Солнце сверкало и грело. Сад был просторен, гол, но травка уже зеленела. На миндальных деревьях розовели набухшие бутоны. Сквозь ветки темнело море, огромное и синее.

²³ Прототипом Леонида отчасти является троюродный брат писателя Петр Гермогенович Смидович (1874—1935) – профессиональный революционер, известный советский государственный и партийный деятель.

Катя выпустила из чулана под лестницей поросенка. Он очумело выскочил, радостным карьером сделал несколько кругов, потом сразу остановился и, похрюкивая, стал щипать молодую травку.

– Смотри, какой жирный и большой! И знаешь, что я заметила? Что свиньи – очень чистоплотные животные. В грязь они лезут потому же, почему мы умываемся. Грязь засохнет и задушит на ней всех вшей, блох. А потом отскребет грязь об угол или ствол, – и чистенькая, как вымытая. И только нежная розовая кожа просвечивает сквозь щетину... Как все интересно, куда ни посмотришь!

Леонид жадно глядел на море.

– Хорошо у вас тут!

И вдруг он засмеялся неожиданно прорвавшимся, внутренним смехом.

– Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкане...

Пойдем, покажи дачку.

Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.

– Отчего ты хромаешь?

– Так... Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу. Пустяки.

Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.

– А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал... Ленка, что-то тут...

Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.

– Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабьи...

Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убежавшим от контрразведки, и как ранил одного в ногу.

Дача кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Сартановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.

– Славная дачка! – В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка. – Когда мы будем здесь, мы ее реквизируем пол клуб коммунистической молодежи.

– А вы скоро будете здесь?

– Недельки через две, не позже.

Катя жадно спросила:

– Встречал ты за это время Веру²⁴?

– Встречал много раз. Она в Петрограде работает, в Женотделе. Чудесная работница. –

Он насмешливо улыбнулся. – А дядя к ней по-прежнему?

Катя грустно ответила:

– По-прежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее: сейчас же у него делается такое беспощадное лицо... Расскажи подробно, – что она, как?

После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.

Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников, и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич по-прежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:

– Ну что? Как дела у вас? По-старому, – арестовываете, расстреливаете?

Леонид сдержанно улыбнулся.

– Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.

– А многих нужно?

– Многих. Контрреволюция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.

²⁴ Прототипом Веры является родная сестра Вересаева Мария Викентьевна – профессиональный революционер, врач, заместитель наркома здравоохранения. Умерла в 1925 г.

– Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.

– Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия, – да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.

– Уничтожать? Я что-то не пойму. Как же, – физически уничтожать?

– Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их, – уйдут к Колчаку, к Деникину и будут сражаться против нас.

Катя ахнула.

– Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уничтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение... Какая гадость!

Леонид пренебрежительно взглянул на нее.

– Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя. Марксизм, это прежде всего – диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы действия.

– Но погоди, – сказал Иван Ильич. – Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертной казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?

Леонид изумленно пожал плечами.

– Удивительно! Мы уже совсем на разных языках говорим... Ну да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической бойне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.

– Но ведь ты говорил, – пролетариат никогда не примирится со смертной казнью в принципе!

– Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.

Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и, закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.

– Предали революцию! – с тоскою воскликнул он. – Предали безнадежно и безвозвратно!

Леонид насмешливо блеснул глазами.

– Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция – не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про Великую французскую революцию, не слыхали про ее великанов – Марата, Робеспьера, Сен-Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона? Они тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали революцию... Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее знаменосцы, – вы-то где же? Нас много, за нами стихия, а вы, – сколько вас?

– Вас много, потому что хамов много.

– Допустим. А вы, чистенькие, безупречные, – что вы делаете в это великое время? Вы, – я не знаю, может быть, вы за добровольцев?

– Нет, брат, избавь от этой чести!

– А тогда что же? Кто с вами? И что вы хотите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросятчиков? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. «Хамы» делают революцию, льют потоками чужую кровь, – да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, «истинные» революционеры, только смотрят и негодуют!..

Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остановился перед Леонидом и спросил:

– Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда приехал?

– Я уже вам говорил: отдохнуть.

– Зачем же тебе было ехать для этого сюда, пробираться через фронт, подвергаться опасностям? Ведь для «усталых советских работников» отдых у вас создается просто: выгони буржуя из его особняка, помещика из усадьбы, – и отдыхай себе вволю от казней, от сысков, от пыток, от карательных экспедиций, – набирайся сил на новые революционные подвиги!

Леонид, улыбаясь про себя, молча отхлебывал из кружки чай. Иван Ильич тяжелым взглядом смотрел на него.

– А скажи, пожалуйста: если бы кто-нибудь приехал и остановился у тебя, кто, – ты верно знаешь, – всею душою против большевиков, и кто, ты подозреваешь, приехал работать против них, – что бы ты сделал?

Леонид взглянул вызывающе смеющимися глазами.

– Станный вопрос. Конечно, дал бы знать в чрезвычайку. Она бы мигом с ним разделалась.

– Донес бы, значит?

– И глазом бы не моргнул.

Иван Ильич тяжело дышал и смотрел на него. Лицо его краснело, в душе поднимался вихрь. Стараясь овладеть собою, он медленно и спокойно сказал:

– Вот что, голубчик! Я не доносчик, и в жизнь свою никогда доносчиком не был. И на тебя не донесу. Но... уходи, милый мой, от нас сейчас же.

Катя порывисто двинулась, но ничего не сказала. Леонид, не допив стакана, с неопределенною улыбкою встал и медленно вышел. Слышно было, как он в Катиной каморке зажег спичкою коптилку, как укладывал свои вещи. Все молчали.

Анна Ивановна нерешительно сказала:

– До утра бы оставить его, пусть переночует. Куда он пойдет, на ночь глядя?

– Нет! – бешено крикнул Иван Ильич. Лицо его стало темным, как чугун. – Сейчас же вон! Доносчик, палач, – не позволю поганить нашего дома! Иначе сам уйду! Так вы все и знайте!

Он зашагал по кухне и вдруг качнулся, как сильно пьяный. Анна Ивановна побледнела, Катя вскочила и подбежала к нему. Он отстранил ее рукою.

– Не-ет!.. Нужна, господа, хоть какая-нибудь брезгливость! Вы самого Иуду готовы в постельку уложить и укрыть тепленьким одеяльцем!.. Не-ет!..

Вошел Леонид с котомкою за плечами.

– Палку свою я, кажется, здесь оставил.

Он взял в углу палку. Глаза его смотрели кротко, в них было то хорошее, покорное и грустное, что Катя знала в нем в часы преследований и несчастий в былые времена. У ней сжалось сердце.

– Куда ты пойдешь?

– Наших тут везде много, приют найду, где угодно. До свидания! – мягко сказал он.

– погоди, Леня!

Катя быстро отрезала половину большого хлеба и подала ему.

– Э, дурочка, на что мне! Ведь у самих муки мало.

– Ну-ну, бери!

Он взял и вышел. Все молчали.

* * *

Муж и жена, с очумелыми глазами, полными отчаяния и усталости. С утренней зари до поздней ночи оба беспомощно трепались в колесе домашнего хозяйства, неумелые и растерянные. Пилили вдвоем дрова тупую пилою с обломанными зубьями и злобно ссорились. Он

колол поленья зазубренным топором, то и дело соскакивавшим с топорища. Она доила корову, которой смертельно боялась.

Корова брыкалась, ей связывали ноги. Жена опасливо доила, каждую минуту готовая отскочить, а муж стоял перед мордую коровы, косился на рога, грозил толстой палкой и свирепо все время кричал. И были у коровы такие же ошалелые глаза, как у хозяев.

Ложились поздно ночью, – никак не успевали управиться раньше, а к пяти утра нужно было вставать доить корову. Хоть бы раз выспаться всласть, – это было бы высшим блаженством, о котором не смели и мечтать. И результатом чудовищной работы, выматывавшей все силы, было, что этот день, слава богу, кое-как сыты.

Катя помнила их два года назад. Счастливая, милая семья на уютной своей дачке, с детками, нарядными и воспитанными. Он тогда служил акцизным ревизором в Курске. У нее – пушистые, золотые волосы вокруг веселого личика. Теперь – лицо старухи, на голове слежавшаяся собачья шерсть, движения вульгарные. Распущенные грязные ребята с мокрыми носами, копоть и сор в комнатах, неубранные постели, невынесенная ночная посуда. И бешеные, злобные ссоры весь день.

– Катерина Ивановна, вы гладите свое белье?

– Конечно.

Она с торжеством посмотрела на мужа.

– Что?

– «Что!» Совершенно бессмысленная трата сил. Нелепое щегольство, когда и без того погибаем от работы.

– «Щегольство!» Катерина Ивановна, посмотрите на меня, – правда, какая щеголиха? Ха-ха-ха!.. И то хуже кухарки всякой.

* * *

– Здравствуйте! Как живете?

– Плохо, конечно. Вещи распродают, – этим питаюсь. А вы?

– Все вещи распродал. Ворую.

– Распродам, – тоже останется воровать.

* * *

По-крымски медленно надвигалась весна. Высокое солнце лило на землю нетерпеливый жар, но остывшее море перехватывало его и пускало в воздух острый холодок. Неспешно набухали почки акаций и тополей. Миндальные деревья, как повенчанные невесты, медленно сбрасывали свой воздушно-белый наряд и одевались в плотные зеленые платья. Скворцы черными четками усаживались к вечеру на холодеющие телеграфные проволоки, упоенно блеяли козлятами, квакали лягушками, свистели как чабаны. Без северной тревоги и томления шла весна.

А в людях была тревога. «Идут? Не идут?» Никто ничего не знал. Но чувствовалось, – что-то надвигается, что-то ломается и трещит... Свирепее и безудержнее становились реквизиции, разнузданнее войска. На дорогах казаки отнимали у мужиков муку и вино, забирали хороших лошадей и оставляли взамен своих, загнанных и охромевших. В городе офицеры сводно-гвардейского полка ворвались в тюрьму, вывели тридцать бандитов и большевистских комиссаров и расстреляли их на берегу моря. Богатые люди выезжали на пароходах в Новороссийск, Батум, Константинополь.

Смелее становился народный говор и ропот. Дерзче грабежи в экономиях и дачных поселках. Чаше поджоги. Безбоязненное уклонение от мобилизации. В потребиловке Агапов

и Белозеров, осторожно оглядываясь, говорили, что добровольцы, собственно, обманули народ и что истинно народную власть могут дать только большевики.

Привезли наконец муку в потребиловку. Сартановы уже неделю сидели без хлеба и ели разваренные кукурузные зерна. Катя пришла получить муку.

В прохладной лавке с пустыми полками народу было много. Сидели, крутили папиросы, пыхали зажигалками. Желтели защитные куртки парней призывного возраста, воротившихся из гор. Болгарин Иван Клинчев, приехавший из города, рассказывал, что на базаре цена на муку сильно упала: буржуи бегут, везут на пароходы все свои запасы, а дрягили²⁵ вместо того, чтобы грузить, волокут муку на базар.

Штукатур Тимофей Глухарь злобно сказал:

– Ишь, сволочь какая! Народ с голодудохнет, а они муку увозят!

Толстая болгарка с черными, как сажа, бровями спросила продавщицу Маню:

– Сколько катушка стоит?

– Сорок рублей.

– Господи, что же это!

Глухарь отозвался:

– Дай, большевики придут, – сорок копеек будет стоить. Они все это спекулянтство уничтожат.

Катя, со всегдашней своею привычкою говорить, что в душе, удивленно поглядела на него.

– Тимофей! Как же вы совсем еще недавно говорили, что вы против большевиков?

– А вам желается, чтоб у нас кадеты остались? Хе-хе! Не-ет! Довольно! Поездили на наших шеях!

– Я вам не говорила, что мне желательно.

– Еще бы теперь говорить! Вы теперь затаились. Чуете, что дело ваше плохо.

Осторожные болгары с молчаливою усмешкой поглядывали на Катю. Русские злорадно стали глумиться над добровольцами и ругать их. Веселый парень в солдатской рубашке без пояса запел: «Пароходик идет, вода кольцами, Будем рыбу кормить добровольцами!»

Катя стала с чеком в очередь. Толстая болгарка подошла и встала перед нею.

– Послушайте, Марина, не видите, – очередь? Что ж вы вперед заходите?

– Мне некогда.

– И мне тоже некогда.

– Подождете. Что вам делать? Мы работаем, а вы на берегу голые лежите.

Кругом засмеялись. Подвыпивший столяр Капралов вдруг грозно спросил болгарку:

– А кому какая польза, что ты работаешь? Кабы вы на общественную пользу работали, то было бы дело. А вы зерно в ямы зарываете, подушки набиваете керенками, – «работаем!» Сколько подушек набил? А приду к тебе, мучицы попрошу для ребят, скажешь: нету!

Он властно отстранил болгарку и обратился к Кате:

– Становитесь, барышня, в свою очередь. А твое вот где место. Ее отец хороший человек.

Болгары щурились и молча смотрели в стороны. Толстая болгарка не так уж уверенно возразила:

– А мы нешто плохие?

– Вы не хорошие и не плохие. Он за народное дело в тюрьме сидел, бедных даром лечит, а к вашему порогу подойдет бедный, – «доченька, погляди, там под крыльцом корочка горелая валялась, собака ее не хочет есть, – подай убогому человеку!» Ваше название – «файдасыз»!..²⁶ Дай, большевики придут, – они вам ваши подушки порастрясут!

²⁵ Дрягиль – крючник, грузчик.

²⁶ Великолепное татарское слово, значит оно: «человек, полезный только для самого себя». Так в Крыму татары называют

Катя получила полтора пуда муки и волоком вытащила мешок наружу.

По шоссе в порожних телегах ехали мужики. Катя подбежала и стала просить подвезти ее с мешком за плату к поселку, – за версту. Первый мужик оглядел ее, ничего не ответил и проехал мимо. Второй засмеялся, сказал: «Двести рублей!» (В то время сто рублей брали до города, за двадцать верст.)

Из потребиловки мужик, с рыжеватой бородой и красными, обтянутыми скулами, вынес свои покупки и стал укладывать в телегу. Катя быстро спросила:

– Вы по шоссе поедете, мимо поселка?

Мужик, не оглядываясь, пробурчал:

– Нечего мне с тобой. Проходи!

Деревенские, сидевшие на скамеечке у потребиловки, засмеялись. Парень Левченко, с одутловатым, в прыщах, лицом, в солдатской шинели, сказал:

– Тащи-ка на своем хребте. Ноне на это чужих хребтов не полагается.

Катя вспыхнула.

– Знаете что? Когда на почте неграмотный человек просит меня написать ему адрес на письме, – я не смеюсь над ним, потому что знаю, он не умеет писать, а я умею. А мешок поднять у меня нет силы. Не хотите помочь, – ваше дело. Но как же вам не стыдно смеяться?

Сидевшие на скамейке молчали. Левченко улыбался нехорошою улыбкою. Мужик в телеге удивленно взглянул на Катю и вдруг сказал:

– Садитесь.

И сам положил ее мешок в телегу.

Они затряслись по шоссе. Катя усаживалась на своем мешке и радостно говорила:

– Ну вот, видите: все-таки, – все-таки, люди добрее и лучше, чем кажутся! Ведь вот стало же вам совестно! Но скажите, – почему теперь все стали такие жестокие?

Мужик улыбнулся хорошою мужицкою улыбкою.

– Верно. Осатанел народ.

– Но почему же?

Он подумал, но не нашел ответа. Пошевелил плечами и стегнул кнутом лошадь.

Легкий ветерок дул с залитых солнцем гор, пахло фиалками. Мужик разговорился. Он был из соседней степной деревни. Рассказал он, как после ограбления экономии Бреверна к ним в деревню поставили постоем казаков.

– Корми их, пои. Всё берут, на что ни взглянут, – полушубок, валенки. Сколько кабанчиков порезали, гусей, курей, что вина выпили. Девки за груди хватают, и не моги им ничего сказать, – сейчас за шашку. А мы чем виноваты? «К вам, – говорят, – след от колес ведет из экономии». Может, и из наших кто. Мало ли с войны солдат воротилось. Да ведь он сказываться не станет; если что своровал, схоронит. А к ответу всех поставили. Нашего брата как хочешь обижай. У зятя моего в Бараколе кадеты стали лошадь отымать, он не дает. – «Я, говорит, через нее хлеб кушаю». – «Ну, вот, покушай!» И из ливарвера ему в лоб. Бросили в канаву и уехали. Старики в город пошли жаловаться, все расписали, как было. Те опять приехали: – «Вы, – говорят, – жаловались?» – «Мы». Отхлестали нагайками и – ходу!

Катя в беспомощном негодовании оглядывала сверкавшие солнцем дали.

– Да это и большевики не хуже!

– Кто их знает. Нам все одно. Царь ли, Ленин ли, – только бы порядок был и покой. Совсем житья не стало.

Мужик слегка подхлестывал кнутом лошадь. Несло от него чем-то светлым, тихим и крепким, что всегда чуялось Кате в мужиках сквозь их жадность, жестокость и грубость.

Подъехали к калитке дачи. Мужик внес мешок и отказался взять деньги.

* * *

Керосиновая лампочка тускло освещала пыльные выступы камней в подвале. Отдушины были завешаны дерюгами. Ася месила лопатой известку, Агапов, в фартуке, клал поперечную стенку, Майя подавала камни. Из-за стенки выглядывали ящики, мешки с мукою, бочонки.

Говорили шепотом.

– А золото я вот в эту щель вмазываю. Запомните, девочки! Вот, зеленый камушек, на высоте моего роста.

Вывели стенку под самый свод. Завалили ее старыми ящиками, пустыми бочками. Затрусили пол сором. Выходили из подвала поодиночке, зорко вглядываясь в глухую темноту ночи.

* * *

У профессора пили чай. Он сегодня ездил в город читать свои лекции в народном университете, и Катя забежала узнать новости. Профессор был заметно взволнован. Наталья Сергеевна сидела за самоваром бледная, с застывшим от горя лицом.

– Добровольцы по всем дорогам уходят в Феодосию, а оттуда в Керчь. В городе полная анархия. Офицеры все забирают в магазинах, не платя, солдаты врываются в квартиры и грабят. Говорят, собираются устроить резню в тюрьмах. Рабочие уже выбрали тайный революционный комитет, чтобы взять власть в свои руки.

Наталья Сергеевна сказала:

– У нас сейчас стирает девушка с деревни, рассказывала: в Насыпное заночевали два офицера, – их ночью убили, раздели догола и трупы увезли куда-то.

С террасы вбежала девушка-прачка, хлопнула зазвеневшей стеклянной дверью, крикнула на бегу: «Кадеты идут!» и в ужасе пробежала в кухню.

Вышли на террасу. С горы по дороге спускался высокий молодой офицер с лентой патროнов через плечо, в очень высоких сапогах со шпорами... В руке у него была винтовка, из-за пояса торчали две деревянные ручки ручных гранат. На горе, на оранжевом фоне заходившего солнца, чернела казенная двуколка и еще две фигуры с винтовками.

– Скажите, здесь живет профессор Дмитриевский?

– Это я.

– Вам письмо от вашего сына.

– Очень вам благодарен, поручик... Не зайдете ли выпить стакан чаю?

– Благодарю вас, меня товарищи ждут.

– Так ведите и их.

Офицер конфузливо улыбнулся.

– Ну, спасибо. Сейчас приведу.

Двуколка, нагруженная большим бочонком, спустилась с горы. Высокий взойшел на террасу еще с двумя офицерами. Их усадили пить чай. Профессор и Наталья Сергеевна жадно стали читать письмо.

– Вам записочка от Мити, – сказал профессор Кате.

Записка была написана наскоро, взволнованным почерком. Митя писал, что их полк экстренно двинули к Керчи, что навряд ли скоро придется увидеться. «Катя, милая моя девушка! Навряд ли и вообще уж когда-нибудь увидимся. Прощай, не поминай лихом!»

Профессор спросил офицеров:

– Как положение?

Офицер в гусарской фуражке, с рыжими подстриженными снизу усами, ответил:

– Обычное маневрирование. Из стратегических соображений войска передвигаются к Керчи.

Высокий усмехнулся, поколебался и вдруг махнул рукою.

– Какие там стратегические соображения! Просто гонят нас большевики. Да и гнать-то, в сущности, некого. Армия больше не существует, расползлась по швам и без швов, как интендантские сапоги. И надеяться больше не на кого. Союзники от нас отступились, французы отдали большевикам Одессу...

Гусар сумрачно покосился на него.

– Вы не профессиональный военный, поэтому все вам и кажется так страшно. Во всякой войне бывают колебания в ту и другую сторону. Вот соберемся с силами, подойдут пополнения, – и погоним красных, как стадо овец, вот увидите. Их только раз разбить, а дальше работа будет уж только нам, кавалерии.

Третий, очень молодой артиллерист-прапорщик, смуглый, с родинкой на щеке и с серьезными глазами, сдержанно возразил:

– С таким командным составом никого не разобьем.

Высокий с негодованием воскликнул:

– Ох уж этот командный состав!.. Совсем как при царе: бездарность на бездарности, штабы кишат франтами-бездельниками, которые и носа не кажут на фронт. Воровство грандиозное, наши солдаты сидят в окопах в рваных шинелишках, в худых сапогах, а в тылу идет распродажа обмундирования, все мужики в деревнях ходят в английских френчах и американских башмаках. В ресторанах шампанское потоками, миллионы летят, как рубли... А мы что делали на фронте? Вместо того чтобы защищать перешеек, – ведь сами говорят: Фермопилы, – бросили нас далеко на север, три тысячи против пятнадцати тысяч красных, – для того, видите ли, чтобы соединиться у Дебальцева²⁷ с Деникиным. Ну, конечно, разбили нас и отбросили... А теперь транспорт наших крымцев пришел к Деникину, – он их не принял: вы, говорит, убежали от большевиков, вы мне не нужны.

Профессор встал.

– Извините, вы мне позволите написать письмо сыну?

Он ушел с женою. Катя, без кажущейся связи с разговором, сказала:

– На днях я ехала с одним мужиком из соседней деревни, он мне рассказывал: добровольцы отобрали у его зятя лошадь, последнюю, а когда он стал противиться, его застрелили.

Гусар враждебно смотрел на нее.

– Да ведь это все сказки! Как вы им верите!

Высокий устало отозвался:

– Нет, так бывает.

– Да ведь это же хуже большевиков!

– Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.

– Сдавшихся!

– А они не так?

– Ну и как на душе у вас?

Высокий усмехнулся.

– Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо.

Замолчали. Катя сказала:

– Или вот еще, тот же мужик рассказывал. У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна, – к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.

²⁷ Дебальцево – город в Донбассе.

Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.

– А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сыты, в тепле; продавать ничего не хотят, набивают подушки керенками...

Катя весело всплеснула руками.

– Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!

Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:

– Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.

Высокий усмехнулся:

– А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина возем, – заплатили мы за него?

Гусар заговорил взволнованно:

– Вы говорите, – в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает все! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет, барабанят на рояле бездарный свой интернационал. Жена моя нищенствует в уездном городишке... Расстреливать буду, жечь, пытать, – все! И с восторгом! Развалили армию, отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь, – поползу, зубами буду стрелять!

Высокий задумчиво курил папиросу.

– У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время сложа руки не мог. А выбор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем не повинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми идти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредительное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит и всех нас ненавидит. Выходить можем только по несколько человек вместе, вооруженными. Вон на днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров... Буржуазия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.

Катя воскликнула:

– Зачем же вы тогда остаетесь?!

Гусар быстро поднял голову.

– То есть как это?

Высокий безнадежно махнул рукою.

– Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно, – поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык. – Он показал свои мозолистые руки. – У меня своего – вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.

Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:

– Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.

– Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти, – сказал гусар.

Вошел профессор с письмом.

– А вы, Екатерина Ивановна, не напишете Мите?

– Нет.

Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздывать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катей.

– Вы знаете, такой ужас, такой кошмар! – говорил он. – Как мы до сих пор не сошли с ума!

Катя украдкой быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:

– Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?

– Да.

– Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!

Офицер медленно покачал головою.

– Нет, ничего не стану говорить.

И, не прощаясь, пошел к двуколке.

Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.

– Господи, какие у этого рыжего глаза! Как пустые дырки! – Она нервно повела плечами. – Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и пытать будет, и застрелит, если кто уйдет, – всё!

Профессор растерянно усмехнулся.

– Положение! Проваливаться куда-то в преисподнюю за дело совершенно чужое!

– Я завтра отправлюсь к нему, уговорю его уйти, – сказала Катя.

Профессор изумился.

– Что вы говорите! На фронт! Да кто вас пропустит? И как вы доберетесь туда?

Наталья Сергеевна радостно слушала.

– Попробуюсь. Чего захочу, я всегда достигаю. Нельзя, нельзя ему там оставаться!

* * *

Они говорили долго и горячо. Губы Дмитрия не улыбались всегдашней его тайною улыбкою, глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность. Катя страстно старалась вложить в его безвольную душу все напряжение своей воли, но чувствовала, – крепкая стенка огораживает его душу, и этой стенки она не может пробить.

А он держал в руках руку Кати, с тихой любовью смотрел на ее почерневшее от солнца лицо, осунувшееся от трудной дороги, на пыльные волосы...

– Катя, может быть, нехорошо прямо говорить тебе все, что сейчас в душе...

– Ну, именно все скажи, именно все!

– Да, я все-таки скажу... Вот, ты мне говоришь: уйди. Скажем, я пошел бы на эту гадость, – бросить товарищей в беде. Ну а дальше? Куда уйти с тобою? Ведь красные меня либо расстреляют, либо мобилизуют, и я должен буду пойти с ними. Или скрываться, прятаться? Где? До каких пор? Папа тоже вот неуверенно говорит: «уйди». А когда спрошу: «куда?» – он начинает бегать глазами... Ужас в том, что выбора нет никакого. Либо с теми, либо с этими. А кто в промежутке... Да и ты сама. Тебя никто не будет заставлять, а тебе разве легче? Разве с твоею активной натурой ты сможешь удовлетвориться тем, чтобы говорить обоим сторонам: «Уходите!» – уходите, и больше ничего!

Катя заломила руки. На это нечего было возразить. И туго натянутая воля, стремившаяся бросить в жизнь действенный поступок, оборвалась, как надрезанная тетива.

Они сидели на скамеечке под распускающимися тополями, у крыльца белого домика немца-колониста. Над приазовскими степями голубело бодрое утро, частые темно-синие волны быстро бежали из морской дали к берегу. По деревне синели дымки бивачных костров, и приятно пахло гарью.

Подождал солдат и сказал:

– Господин поручик!

– Да-да! Я сейчас!

Дмитрий быстро встал.

– Тебе, Митя, нужно идти. Прощай.

– Я тебя провожу до околицы. Мне все равно в ту сторону идти.

За низкими сараями артиллеристы торопливо устанавливали орудия с длинными хоботами. Солдаты пробивали в глиняных оградах бойницы. К деревне крупной рысью подъезжал отряд лохматых казаков, лошади играли. И везде солнце сверкало, и была бодрящая прохлада утра, и кипела взволнованная работа, и таинственно бухали в туманной дали редкие орудийные выстрелы. Скоро тут закрутится сверкающая смерть. Лица всех были сосредоточены, серьезны – и как прекрасны!

Дмитрий сказал:

– «Уйти». Уйти можно только... в царство теней. Когда уж слишком ясно почувствуешь, что и здесь ты все равно только безжизненная тень ненужной сейчас жизни...

Катя жадно глядела кругом и вдруг воскликнула страстно:

– Если бы я могла остаться тут вместо тебя!

Дмитрий потихоньку пожал ее руку и умиленно прошептал:

– Спасибо тебе.

Катя удивленно взглянула на него.

* * *

Катя сидела у фонтана под горой и закусывала. Ноги горели от долгой ходьбы, полуденное солнце жгло лицо. Дороги были необычно пусты, нигде она не встретила ни одной телеги. Безлюдная тишина настороженно прислушивалась, тревожно ждала чего-то. Даже ветер не решался шевельнуться. И странно было, что все-таки шмели жужжат в зацветающих кустах дикой сливы и что по дороге беззаботно бегают милые птички-посорянки, похожие на хохлатых жаворонков.

С горы спускалась линейка. Подъехала к фонтану. Высокий болгарин сошел, чтобы попоить лошадей. Катя с удивлением и радостью узнала Афанасия Ханова. И он ее тоже узнал.

– Барышня, что это вы? Куда в такое время собрались?

– Я домой иду. А вы из города?

Ханов не ответил. Разнуздал лошадей перед корытом. Потом сказал:

– Не годится сейчас ходить по дорогам. Садитесь, подвезу.

– Ах, спасибо! Так устала!

Попоили лошадей, поехали в гору, – по плохой дороге с торчащими в колеях белыми камнями. Катю давно интересовал Афанасий Ханов. Он был комиссаром уезда при первом большевизме в Крыму, его ругали дачники, но и в самых ругательствах чувствовался оттенок уважения. И у него были прекрасные черные глаза, внимательно прислушивающиеся к идущим в душу впечатлениям жизни.

У Кати был свой особенный бессознательный подход к людям. Она сама по-детски говорила всегда то, что думает и чувствует, и к душе другого человека подходила сразу, вплотную, без всяких условностей. Это удивляло – и часто налаживало на откровенность. Ханов незаметно разговорился по душе и стал рассказывать о себе.

– Раньше я, понимаете, торговал. Стою за прилавком, деньги сами в руки плывут. Двухэтажный дом себе построил, – вон, где потребилка сейчас. А в мыслях все думается: не то это! Скучно как-то сердцу. Прикрыл, понимаете, дело, опять поворотился в мужики. Труднее стало жить, а в душе получилась легкость. А раньше, бывало, мужики виноград давят, а я скупаю вино и продаю, сам ничего не работаю. «Дураки, – думаю, – как же не видите, что из вас кровь сосут?» У меня в саду абрикосы, груши, персики, а сквозь забор, понимаете, ребятишки сапожника – до чего жадно смотрят! И я тогда понял, что это – права неправильные, что все это нужно ликвидировать. Вон Бреверн в коляске ездит, спит до двух часов дня, а у него тысячи

десятин земли. Как это можно терпеть? И когда мне все это большевики объяснили, я сразу и понял.

– Афанасий! Да ведь это же совсем еще не большевизм. Это социализм, за это и мы. Ведь вы в прошлом году сами были комиссаром, вы видели, как людей грабили, резали, как издевались над ними. Разве кто думал о справедливом строе? Каждый тащил себе. Что из этого может выйти?

В ясных глазах Ханова мелькнула растерянность, как у человека, который с великим трудом утвердился среди болота на кочке, и его вдруг хотят с нее столкнуть.

– Да нет, я, собственно... Я, пожалуй, сам не большевик... Я понимаю, что рано все делать. В социализм, понимаете, идти, – нужно, чтобы руки были так. – Он вытянул вперед раскрытые ладони, как бы все отдавая. – А у нас – так. – Он жадно прижал стиснутые кулаки к груди.

Катя радостно засмеялась.

– Вот именно! А они этого кровью хотят достигнуть и грязью. Два года назад солдаты продавали на базаре в Феодосии привезенных из Трапезунда турчанок, – помните, по две керенки брали за женщину? А сегодня они – большевики, насаждают «справедливый трудовой строй». И вы можете с ними идти!

Ханов с любопытством спросил:

– Ну а с кем идти? С кадетами?

– Зачем же с кадетами? Нужно свое образовать, соединиться всем, кто, вправду, за справедливость и свободу.

– Ну хорошо. А вот вы: ваш батюшка на каторге был, вы в тюрьме сидели. Отчего же не соединяетесь?

Катя измученно засмеялась.

– Вот и давайте соединяться... Господи, что это?!

Через низкие ограды садов, пригнувшись, скакали всадники в папах, трещали выстрелы, от хуторов бежали женщины и дети. Дорогу пересек черный, крюконосый человек с безумным лицом, за ним промчались два чеченца с волчьими глазами. Один нагнал его и ударил шашкою по чернокудрявой голове, человек покатился в овраг. Из окон убогих греческих хат летел скерб, на дворах шныряли гибкие фигуры горцев. Они увязывали узлы, навьючивали на лошадей. От двух хат на горе черными клубами валил дым.

И еще Катя увидела: старуха с растрепанными волосами, пронзительно крича, цеплялась за чеченца, а он тащил на руках в хату прелестную полуобнаженную девочку. В воздухе бились золотисто-смуглые руки, и выгибалась девическая грудь.

– Господи! Да что же это!

Катя хотела соскочить с линейки и броситься усовещивать чеченца. Ханов крепко охватил ее рукою и сильно ударил кнутом по лошадям. Они понесли под гору.

По дороге поспешно шел старик татарин с подстриженными усами, бледный и взволнованный. Катя крикнула ему:

– Слушайте, вы не знаете, что это там, из-за чего?

– Дикая орда приезжал. Греков порубал.

– За что? Садитесь к нам, расскажите. Ханов, можно?

Они поехали. Татарин сообщил, что недавно в соседней русской деревне мужики убили двух заночевавших офицеров, а трупы подбросили на хутора к грекам... Из города послали чеченцев для экзекуции.

Вечером Катя одиноко сидела на скамеечке у пляжа и горящими глазами смотрела в вольную даль моря. Крепкий лед, оковывавший ее душу, давал странные, пугавшие ее трещины. Она вспомнила, как ее охватило страстное желание остаться там, где люди, среди бодрящей

прохлады утра, собирались бороться и умирать. И она спрашивала себя: если бы она верила в их дело, – отступилась ли бы она от него из-за тех злодейств, какие сегодня видела?

* * *

Было везде тихо-тихо. Как перед грозой, когда листья замрут и даже пыль прижимается к земле. Дороги были пустынные, шоссе как вымерло. Стояла Страстная неделя. Дни медленно проплывали – безветренные, сумрачные и теплые. На северо-востоке все время слышались в тишине глухие буханья. Одни говорили, – большевики обстреливают город, другие, – что это добровольцы взрывают за бухтой артиллерийские склады.

Дачники были в смятении. Болгары тоже чувствовали себя тревожно. Кучки бедноты стояли на деревенской улице и вполголоса переговаривались. По слухам, в соседней русской деревне уже образовался революционный комитет, туда приезжали большевистские агитаторы и говорили, чтобы не было погромов, что все – достояние государства. Крестьяне наносили им вина, хлеба, яиц, сала и отказались взять деньги.

В Страстную пятницу Анна Ивановна ходила в потребиловку и принесла известие, что в кофейне Аврамиди сидит восемь большевистских разведчиков с винтовками.

Перед обедом Иван Ильич, в кожаных опорах и грязной, заплатанной рубашке, копал у себя в огороде грядки. Вдруг до него донесся надменно-повелительный голос:

– Эй, ты! Поди сюда!

Иван Ильич изумленно поднял голову. За проволочную ограду, сквозь нераспустившиеся ветки дикой маслины, виднелся на великолепной лошади всадник с офицерской кокардой, с карабином за плечами.

– Ну!!! Живо!

Иван Ильич негодуя смотрел. Офицер сорвал с плеч винтовку и прицелился. Закусив губу, Иван Ильич медленно пошел к ограде. На шоссе были еще два всадника с винтовками.

– Что это за деревня? – Голос у офицера был взволнованный и решительный.

– Это не деревня, а дачный поселок Арматлук. Деревня там, за холмом.

Офицер разглядел лицо Ивана Ильича, увидел его очки и сразу стал вежлив.

– Скажите, пожалуйста, большая деревня?

– Большая.

– А жители кто?

– Больше болгары.

– Очень вам благодарен.

В этом надменном окрике и неожиданном переходе к вежливости и к «вы» только из-за очков Иван Ильич вдруг остро почувствовал тот старый, брезгливо огордившийся от народа мир, который был ему так ненавистен.

Офицер приложил руку к козырьку и вместе со своими спутниками медленно двинулся по шоссе к деревне. У поворота они остановились, долго разговаривали, поглядывая вперед, потом двинулись дальше. Иван Ильич в колебании смотрел им вслед. Они скрылись за холмом.

Иван Ильич трясущимися руками взялся за лопату. Вдруг за холмом затрещали выстрелы, послышалась частая дробь подков по шоссе. Пригнувшись к шеем лошадей, всадники карьером скакали назад. Офицер держал повод в правой руке, из левого плеча его текла кровь.

* * *

Настало Светлое воскресенье. Из-за моря встало яркое солнечное утро, синее небо сверкало. Добровольцы исчезли, – без шума, без грома исчезли, растаяли неслышно, как туман под

солнцем. По шоссе непрерывною вереницею катились линейки и тачанки, на них густо сидели мужские фигуры в красных повязках, с винтовками. Молодежь, выкопав из земли запрятанные еще при немцах винтовки, отовсюду шла и ехала записываться в Красную армию. По всей степи ярко цвели тюльпаны, алые, как свежая кровь. И повсюду горели букеты этих тюльпанов, – в руках, в петлицах, на фуражках.

Промчался от города автомобиль с развевающимся красным флагом. На повороте шоссе автомобиль запыхтел, быстро заработал поршнями и остановился, окутавшись синим дымком. Поднялся с сиденья человек и стал громко говорить в толпу. Замелькали в воздухе белые листки воззваний, против ветра донесся восторженный крик: «Ура!» Автомобиль помчался дальше.

Катя стояла у калитки сада и жадно смотрела на шоссе. Катилась мимо огромная, ликующая река, кипящая общим подъемом, а она одиноко стояла на берегу, чуждая и враждебная этому подъему. Вспомнились ей февральские дни в Москве, – как тогда было иначе! Как тогда билось сердце в один такт с огромным всенародным сердцем, как сладок был свист пуль над ухом на Каменном мосту, как незабываем этот подъем над обыденною, маленькою жизнью! И все, о чем так светло грезилось, – все это рухнуло, развалилось, все утонуло в трясине кровавой грязи...

Катя пошла в свою каморку за кухнею, села к открытому окну. Теплый ветерок слабо шевелил ее волосы. В саду, как невинные невесты, цвели белым своим цветом абрикосы. Чтобы отвлечься от того, что было в душе, Катя стала брать одну книгу за другую. Но как с человеком, у которого нарываёт палец, все время случается так, что он ушибается о предметы как раз этим пальцем, – так было теперь и с Катей.

Открыла «Жизнь Иисуса» Ренана и через две страницы натолкнулась:

«Есть люди, которые сожалеют, что французская революция несколько раз выходила из границ и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных мещан к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим ростом. Контраст между идеалом и печальною действительностью всегда будет создавать в человечестве мятежи против холодного разума, считаемые посредственными людьми за безумие, – до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум».

Открыла Герцена «С того берега»:

«Или вы не видите новых христиан, идущих разрушать? Они готовы. Они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри города. Когда настанет их час, – Геркуланум и Помпея исчезнут, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете».

Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно, – как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определенно?.. «Правый и виноватый погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете...» И вот они пришли, – пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит, чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и брезгливого омерзения.

Под окном хрюкнул поросенок. Он подошел к миске с водою, попил немного, поддел миску пятакон и опрокинул ее. Катя вышла, почесала носком башмака брюхо поросенку. Он поспешно лег, вытянул ножки с копытцами и замер. Катя задумчиво водила носком по его розовому брюху с выступами сосков, а он лежал, закрыв глаза, и изредка блаженно похрюкивал. Куры обступили Катю и поглядывали на нее в ожидании корма.

Кате вдруг стало смешно. Ей представилось: все, что кругом, – как будто это тихая подводная пещерка глубоко-глубоко в море. Там, наверху, сшибаются вихри, чудовищные волны

с ревом бросаются на небо, земля сотрясается, валятся скалы, поросшие вековым мхом, злое еще ползет по склонам огненная лава, – а тут, в пещерке, мирно плавают маленькие козявочки, копошатся в иле, сосут водоросли. И что сама она такая же маленькая козявочка. Ахнет в дно подземный удар, расколет пещерку, бросит в нее шипящую лаву, – козявочки опрокинутся на спину, подожмут лапки, удивятся и умрут.

Вечером к Ивану Ильичу пришел профессор Дмитревский. Он был слегка взволнован, и глаза его бегали.

– Пришел к вам посоветоваться. Сейчас на автомобиле приезжал ко мне из города представитель военно-революционного комитета, сообщил, что рабочие наметили меня кандидатом в комиссары народного просвещения. Спрашивал, пойду ли я. Что вы об этом думаете?

Иван Ильич расхохотался.

– А возможно просвещение, когда свободную мысль душат, когда издаваться могут только казенные газеты?

Профессор поспешно ответил:

– Я сказал, что подумаю, но что, во всяком случае, необходимое условие – свобода слова и печати, что иначе я просвещения не мыслю. Они заявили, что в принципе со мною совершенно согласны, что меры против печати принимаются только ввиду военного положения. Уверяли, что теперь большевики совсем не те, как в прошлом году, что они дорожат сотрудничеством интеллигенции. Через два дня обещались приехать за ответом.

– И вы им верите? – смеялся Иван Ильич. – Мало они всех обманывали!

Заспорили жестоко. Катя энергически поддерживала профессора и доказывала, что нужно идти работать с большевиками. Иван Ильич с негодованием воскликнул:

– И ты – ты тоже бы пошла?

– Не пошла бы, а прямо и определенно пойду... Николай Елпидифорович, возьмите меня в свой комиссариат.

Профессор очень обрадовался. Он умиленно сказал:

– Славная вы девушка, Екатерина Ивановна! Если бы вы знали, как вы мне много даете!

Иван Ильич, ошеломленный, смотрел на Катю.

– Ты... ты вправду пойдешь?

– Обязательно!

Глубоко в глазах Ивана Ильича сверкнул тот же темный, сурово-беспощадный огонь, каким они загорались при упоминании о Вере. Он сгорбился и, волоча ноги, пошел к себе в спальню.

Приказ за подписью коменданта Седова объявлял, что ввиду военного положения гражданам запрещается выходить после девяти часов вечера. Замерло в поселке. Нигде не видно было огня. Тихо мерцала над горою ясная Венера, чуть шумел в темноте прибой. Из деревни доносились пьяные песни.

Была глухая ночь. На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. В дверь террасы раздался осторожный стук. Потом еще. Агапов, трясущимися руками запахивая халат, подошел к двери и хриплым голосом спросил:

– Кто там?

Голос их кухарки, – кухня стояла отдельно от дома, – ответил:

– Барин, это я. Телеграмму почтальон принес.

Агапов отпер. Отстранив кухарку, в дверь быстро вошли три солдата с винтовками. Один, высокий, властно спросил:

– Ты – купец Агапов?

– Я.

Ноги затопали, три дула быстро вскинулись и уставились ему в грудь. Свеча в руке Агапова запрыгала.

– Погодите... Товарищи! В чем дело?

– Конtribusiция на тебя наложена. Пять тысяч рублей.

Агапов ласково улыбнулся.

– Конtribusiция? Превосходно. Раз наложена, то я что же? Я ничего возразить не могу... Сейчас вам вынесу.

Он торопливо вышел в дверь направо. Бледная кухарка тяжело вздыхала. Солдаты смотрели на блестящий паркет, на большой черный рояль. Высокий подошел к двери налево и открыл ее. За ним оба другие пошли. На потолке висел розовый фонарь. Девушка, с обнаженными руками и плечами, приподнявшись на постели, испуганно прислушивалась. Она вскрикнула и закрылась одеялом. Из темноты соседней комнаты женский голос спросил:

– Ася, что это ты?

– Что вам нужно? – спросила Ася.

Солдаты, не отвечая, стояли посреди комнаты и с жадным любопытством оглядывали бледные шелки кушеток, снимки с Беклина²⁸ на стенах, кружева больших подушек вокруг черноволосой девичьей головки. Вдыхали розовый сумрак, пропитанный нежным ароматом. В дверях ласково зажурчал голос Агапова:

– Товарищи, вот вам деньги. Пожалуйте в зал. Вы не беспокойтесь, тут вам делать нечего. Из-за него выглядывала его жена, бледная, в ночной кофте. Высокий коротко сказал:

– Обыск нужно сделать.

– Вы чего же ищите?

Солдат подумал.

– Оружие.

Он подошел к туалету и стал выдвигать ящички. Нашел два футляра с колечками и опустил колечки в карман. Венецианское зеркало туалета с невиданною четкостью отразило его лицо. Он выпрямился и подправил черные свои усики; заглянул в зеркало и другой солдат, совсем молодой. Его Агапов с удивлением вдруг узнал. Это был Мишка, сын штукатура Глухаря. И третьего он узнал, – прыщеватого, с опухлым лицом: тоже деревенский, Левченко.

Глухарь взял со столика, около кровати, золотые часики.

– Борька, вот еще.

Высокий подошел. Он оглядел покрытую одеялом девушку.

– Что это у тебя на руке? Покажь.

Ася робко протянула нагую руку с гладким золотым браслетом.

– Сымай.

Она сняла и подала.

– Слазь с кровати. Обыск нужно сделать. Может, у тебя оружие под тюфяком.

Девушка растерянно приподнялась, закрываясь одеялом.

– Ну-ну, слазий!

Он сдернул одеяло. Как в горячем сне, был в глазах розовый, душистый сумрак, и белые девические плечи, и колеблющийся батист рубашки, гладкий на выпуклостях. Кружило голову от сладкого ощущения власти и нарушаемой запретности, и от выпитого вина, и от женской наготы. Мать закутала Асю одеялом. Из соседней комнаты вышла наскоро одетая Майя. Обе девушки сидели на кушетке, испуганные и прекрасные. Солдаты скидывали с их постелей белые простыни и тюфяки, полные тепла молодых тел, шарили в комодах и шкапах.

Потом они вышли в залу. Высокий сказал:

²⁸ Бёклин Арнольд (1827—1901) – швейцарский живописец-символист.

– До утра никому не выходить. И про все молчать. Коли станете рассказывать, воротимся и всех постреляем.

Они ушли, оставив дверь террасы настежь. Агапов запер дверь. Взмолвленные, долго все сидели в Асиной спальне и обменивались впечатлениями. Кухарка рассказывала, как солдаты наставили на нее винтовки и принудили сказать про телеграмму. Валялись на полу затоптанные сапогами простыни, тонкий аромат духов мешался с запахом застарелого пота и винного перегара. Уже стало светать, когда все разошлись и легли спать.

Опять в дверь террасы раздался стук, – на этот раз сильный и властный. В спальне девушек голос с отчаянием сказал:

– Господи, когда же конец!

Вошли солдаты с винтовками и впереди – командир с револьвером у пояса.

– Оружие есть у вас? Бинокли, велосипеды? Военное обмундирование?

Агапов бледно и ласково улыбнулся.

– Этого ничего нету, товарищи. А золото, какое было, и наложенную контрибуцию сегодня ночью ваши уже взяли.

Командир, с седым клоком в темных волосах, удивленно поднял брови.

– Наши? Какую контрибуцию?

– Не знаю-с. Взыскали пять тысяч.

Командир закусил губу.

– Я сейчас велю выстроить перед вами весь наш отряд. Укажите, кто это сделал.

– Из вашего ли отряда, не знаю. Солдаты, но только здешние, деревенские.

– Кто такие?

– Извините, дал им слово их не называть.

– Все равно назовете.

– Претензий на них я не имею.

– Я вас про это не спрашиваю. Потрудитесь назвать, кто такие.

Агапов огорченно улыбнулся и развел руками.

– Не могу-с!

– Товарищи, нарежьте в саду розог и снимите с него пиджак. Будем вас сечь, пока не назовете.

– Ну, это зачем же-с!.. Коли так, то, конечно... Глухарь Михайло, сын штукатура, и Левченко Игнат, недавно воротился из австрийского плена. Третьего не знаю, не здешний, – высокий, с черными усиками, товарищи называли его Борька.

– Хорошо. Сейчас сделаем у них обыск. К двенадцати часам приходите в ревком.

И, не делая обыска, они ушли.

* * *

Катя встала с солнцем. Выпустила и покормила кур. Роса блестела на листьях и траве. По затуманенной глади моря бегали под солнцем и ныряли тусклые красно-золотые змейки. По подъемам Кара-Агача клубились облака, но острая вершина его твердо темнела над розовым туманом.

Давно так сладко и так крепко Катя не спала, как в эту ночь. Тяжелый камень, много месяцев неосознанно давивший душу, вчера вдруг сдвинулся, и душа – помятая, слежавшаяся – блаженно расправлялась, недоумевая и не веря свободе. Жадно дышала грудь крепким морским воздухом, солнце пело и звенело в душе. С Катей это часто бывало: вдруг как будто совсем другими стали глаза, все обычное, примелькавшееся встало пред ними, как только что возникшее чудо. Она неподвижно стояла среди сада и в ошеломлении смотрела.

Медленно ступала по траве около колодца невиданно огромная и красивая птица с огненно-красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зеленою чернью... Петух? Это – «просто» петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной слизи эта сверкающая красота, – и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни и какой он чудесно необычайный... Из косной земли выползло что-то гибкое, ярко-зеленое, живое и светится под солнцем кустами барбариса. В тысячеугольный миг с чудовищными усилиями слились друг с другом мертвые частицы, – и весело перебегают через шоссе осознавшая себя жизнь, забывшая о заплаченных судьбе невероятных своих страданиях. Смеется смуглое личико, тонкий стан качается, качаются на коромысле ведра, и сверкающие капли падают с них на дорогу.

Калитка протяжно скрипнула. С шоссе входили в сад два солдата с винтовками, с красными перевязями на руках. Катя весело спросила:

– Вам чего, господи?

– Оружие есть у вас?

– Нету.

Солдаты направились к дому. Не стучась, вошли в кухню. Иван Ильич умывался у раковины, Анна Ивановна поджаривала на сковороде кашу. Когда солдаты вошли с Катей, Иван Ильич повернул к ним свое лицо с мокрой бородой, Анна Ивановна побледнела. Иван Ильич спросил:

– Что скажете, граждане?

Враждебно глядя, один из солдат, с белыми бровями и усиками на загорелом лице, сказал:

– Пришли обыск сделать. Оружие есть у вас? Если бинокли есть, велосипеды, одежда военная, – должны выдать.

Иван Ильич брезгливо повел на них глазами.

– Обыскивайте.

И стал вытираться полотенцем.

Солдаты неуверенно оглядели закопченную кухню, заглянули в убогую Катину каморку, потом пошли в спальню. Было грязно, бедно. Белоусый для виду приподнял за угол тюфяк неубранной постели.

– Ну что же! Нету ничего, – обратился он к товарищу.

Катя рассмеялась. Ей милы были их конфузливые лица и неуверенность.

– Да разве так обыскивают? Так вы ничего не найдете. У нас тут под тюфяком спрятано три пулемета.

– Нет, что ж!.. Сразу видать, что ничего нету.

Они пошли назад в кухню. Катя сказала:

– Садитесь, попьем чайку.

Солдаты удивились, переглянулись и со смущенною улыбкою ответили:

– Ну, спасибо. Сегодня ничего еще не пили, не ели.

Они поставили винтовки свои в угол.

Пили из кружек горячий настой шиповника, закусывая хлебом. Катя жадно расспрашивала. Белоусый, с посверкивающим улыбкою загорелым лицом, рассказывал:

– Мы составили свой партизанский отряд, дали клятву беспощадной борьбы и железной дисциплины. Командир у нас лихой – товарищ Седой. Сознательный человек. Всем беспонятным дает понятие.

– А сами вы кто?

– Мы рабочие, из города.

– Отчего же вы такой загорелый?

– В горах уж целый месяц – на ветру, на солнце. Ушли от кадетов, организовались, чтоб начать у них в тылу партизанскую борьбу, а тут как раз наши подошли от Перекопа.

– Вы сами тоже, значит, большевики?

Он с удивлением поглядел на Катю.

– Ну да!

Иван Ильич спросил:

– А что такое большевизм?

Солдат с готовностью стал объяснять:

– Большевизм, это – за рабочую власть. Чтоб вся власть была у рабочих и крестьян. Сделать справедливый трудовой строй.

– И крестьянам чтоб была власть? Почему же вы тогда против Учредительного собрания? Крестьян и рабочих в России море, а буржуазии – горсточка. Что кому помешало бы, если бы в Учредительном собрании был десяток представителей от буржуазии? А между тем тогда всем было бы видно, что это всенародная воля, и всякий бы пред нею преклонился.

Солдат улыбнулся.

– Я вам сейчас все это объясню вполне полноправно. Мужик – темный, его всякий поп проведет и всякий кулак. А мы, рабочий класс, его в обиду не дадим, не позволим обмануть.

– Напрасно вы думаете, что наш мужик такой дурачок. И напрасно думаете, что у него нет своих интересов, отличных от интересов рабочего класса.

– Ваня! – позвала из спальни Анна Ивановна.

Иван Ильич пошел к ней. Анна Ивановна шепотом накинулась на него.

– Ваня, да что ж ты это? Арестуют они тебя, – а там вдруг откроется, что ты бежал из России. Ведь вот какой неугомонный!

– Э, ч-черт! – Иван Ильич махнул рукою и лег на постель.

Солдат с любопытством спрашивал Катю:

– А вы за кого стоите?

– Я стою за социализм, за уничтожение эксплуатации капиталом трудящихся. Только я не верю, что сейчас в России рабочие могут взять в руки власть. Они для этого слишком неподготовлены, и сама Россия экономически совершенно еще не готова для социализма. Маркс доказал, что социализм возможен только в стране с развитою крупною капиталистическою промышленностью.

Солдаты с недоумением смотрели на нее, и лица их становились все более настороженными. И все больше сама Катя чувствовала, что для них, сейчас, при данном положении, то, что вытекало из ее слов, было еще более нежизненно, чем тот утопический социализм, о котором она говорила.

Белоусый поднял брови, подумал и сказал:

– Вы говорите, вы за рабочих? Так как же теперь? Мы, значит, власть взяли, – и отдать ее назад буржуазии, чтоб она развивала эту самую промышленность?

– Отдавайте не отдавайте, а она все равно власть себе заберет. Или Россия совсем развалится.

Другой красноармеец – желто-бледный, с черной бородкой – резко спросил:

– А скажите, – вот эта дачка, – ваша, собственная?

– Ну... Ну да, наша! Но что же это меняет?

Он встал, взял из угла винтовку и пренебрежительно ответил:

– Ничего... Спасибо за угощение.

Они пошли из кухни. Катя провожала их до калитки. С черной бородкой сказал:

– Вот, брат Алеха, дело-то какое выходит, а? Пойдем-ка в город, поищем буржуев, – может, какие еще остались. Отдадим им винтовки свои, – виноваты, мол, ваше степенство, получайте власть назад!

Катя радостно смеялась.

– И все-таки, – все-таки я очень рада, товарищи, что видела вас. Вы действительно товарищи, вас я так могу называть... А то – хулиганы, грабители, обвешались золотыми цепочками, брильянты на пальцах, у мужика в вагоне отбирают последний мешок муки, и все – «товарищи».

По шоссе проходил красноармеец с винтовкой. Он крикнул:

– Гришка, Алешка! В двенадцать часов собирайтесь к ревкому! Бандитов судить.

* * *

Катя тоже пошла к двенадцати часам.

На площади, перед сельским правлением, выстроился отряд красноармейцев с винтовками, толпились болгары в черном, дачники. Взмолвленный Тимофей Глухарь, штукатур, то входил, то выходил из ревкома. В толпе Катя заметила бледное лицо толстой, рыхлой Глухарихи, румяное личико Уляши. Солнце жгло, ветер трепал красный флаг над крыльцом, гнал по площади бумажки и былки соломы.

Из ревкома вывели под конвоем Мишку Глухаря и Левченко, с оторопелыми, недоумевающими глазами. Следом, решительным шагом вышел командир отряда, в блестящих лакированных сапогах и офицерском френче. Катя с изумлением узнала Леонида. С ним вместе вышел Афанасий Ханов, председатель временного ревкома, и еще один болгарин, кряжистый и плотный, член ревкома.

Леонид остановился у перил крыльца и привычно громким, далеко слышным голосом заговорил:

– Товарищи! Героическим усилием рабочих и крестьян в Крыму свергнута власть белогвардейских бандитов. Золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов соединились в так называемую Добровольческую армию, чтоб удушить рабочий народ и отобрать у него обратно свои поместья и фабрики. Рабоче-крестьянская Красная армия раздавила гнездо этих гадов. От нас не будет пощады никому, кто жил чужим трудом, кто сосал кровь из трудящихся. Мы выгоним их из роскошных дворцов и вилл, обложим беспощадной контрибуцией, отберем съестные припасы и одежду, заставим возвратить все награбленное...

Слова были затасканные и выдохшиеся, но от грозного блеска его глаз, от бурных интонаций голоса они оживали и становились значительными. Леонид продолжал:

– Но, товарищи, это не значит, что наша Советская Социалистическая Республика разрешает любому желающему грабить всякого встречного буржуя и набивать себе карманы его добром. Все имущество буржуазии принадлежит республике трудящихся, помните это! Только она будет отбирать у них имущество, чтоб по справедливости разделить между нуждающимися... Между тем сегодня ночью три человека, – два из них – вот они, третий скрылся, – записавшись вчера вечером в Красную армию, ночью сделали налет на поселок, взыскали в свою пользу контрибуцию с гражданина Агапова, награбили у него золотых вещей, белья, даже женских рубашек. При обыске мы нашли у них эти вещи...

Солдаты с загорающим негодованием слушали. И было это опять не от слов, а от грозного возмущения, каким горели слова, от гипнотического заражения ощущением неслыханной позорности совершенного.

– Гражданин Агапов! Расскажите, как было дело.

Выступил Агапов, с приплюснутым спортсменским картузиком на голове. Сладко и виновато улыбаясь, он рассказал, как его грабили, всячески смягчая подробности, и прибавил, что злобы не имеет и просит простить обвиняемых.

Леонид обратился к болгарам:

– Вы, товарищи, имеете что-нибудь против гражданина Агапова?

Из толпы неохотно ответили:

– Что ж иметь... Дачник как дачник.

Леонид вызвал барышень Агаповых. Ася, с вспыхнувшими злобою красивыми глазами, указала на Мишку Глухаря:

– Вот этот взял у меня со стола золотые часики.

Агапов растерянными, говорящими глазами старался удержать дочь, но она нарочно не смотрела на него. Вдруг старик Глухарь резко спросил:

– А скажи, где твой брат?

Ася смутилась.

– Какой брат?

– Како-ой!.. Не знаешь? Ну-ка, подумай!

– Мы о нем уж полгода не имеем вестей.

– Ишь ты, как! Не имеешь! Ну а я имею. Он в кадетах служил офицером.

– Это мы исследуем, – зловеще сказал Леонид и обратился к арестованным:

– Что вы скажете?

Парни в один голос ответили:

– Пьяны были, товарищ начальник! Ничего не помним. Мы думали, что Борька Матвеев по приказу действует.

Леонид сурово оглядел их.

– Вы этого не могли думать. Всем записавшимся в наш отряд я вчера вечером ясно сказал, что грабить мы не позволяем... Товарищи! – обратился он к своему отряду. – Наша Красная рабоче-крестьянская армия – не белогвардейский сброд, в ней нет места бандитизму, мы боремся для всемирной революции, а не для того, чтоб набивать себе карманы приятными разными вещичками. Эти люди вчера только вступили в ряды Красной армии и первым же их шагом было идти грабить. Больше опозорить Красную армию они не могли.

И как будто стальная молния пронизала напоенный солнцем воздух:

– ...Я предлагаю им наказание: расстрел!

Толпа глухо охнула. Арестованные побледнели и затряслись. Короткий стон выделился из гула. Глухариха с мертвенно-бледным лицом и закрытыми глазами валилась на руки соседа.

Леонид обратился к своему отряду:

– Как вы, товарищи?

– Расстрел! – пронеслось по рядам, и защелкали затворы винтовок.

Крестьянская толпа взволнованно гудела. Выделился голос:

– Не надо расстрела. Выпороть довольно...

– Выпороть! – подхватила толпа.

Леонид помолчал.

– Хорошо. Предлагаю пятьдесят розог...

– Много!

– Ну, двадцать пять. Больше разговаривать нечего... Товарищи, нарежьте розог!

Выступил Агапов.

– Прошу слова... Я бы предложил для светлого праздника совсем их простить. Они это сделали по неосознанности, сами теперь жалеют, а мы на них зла не имеем.

Леонид резко оборвал его:

– Приговор уже произнесен!

Красноармейцы шли от огорода с нарезанными прутьями. Парни трясущимися руками стягивали через головы рубашки.

Со смутным чувством омерзения и торжества Катя то взглядывала, то отворачивалась. Белели спины, мелькали прутья, слышались мальчишеские жалобные вопли. Уляша, вытянув голову, жадно и удивленно смотрела через плечи мужиков. Нервно смеясь, Катя подошла к ней.

– Ну что, Уляша, большевизм, это – дачи грабить?

Уляша застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Катя, сквозь стыд, сквозь гадливую дрожь душевную, упоенно торжествовала, – торжествовала широкою радостью освобождения от душевных запретов, радостью выхода на открывающуюся дорогу. И меж бараньих шапок и черных свит она опять видела белые спины в красных полосах, и вздрагивала от отвращения, и отворачивалась.

Громко раздался в тишине голос Леонида:

– Теперь вы будете отправлены на фронт, в передовую линию, и там, в боях за рабочее дело, искупите свою вину. Я верю, что скоро мы опять сможем назвать вас нашими товарищами... А третьего мы все равно отыщем, и ему будет расстрел... Товарищи! – обратился он к толпе. – Мы сегодня уходим. Красная армия освободила вас от гнета ваших эксплуататоров, помещиков и хозяев. Стройте же новую трудовую жизнь, справедливую и красивую!

Потом выступил Афанасий Ханов. Он говорил путано, сбиваясь, но прекрасные черные глаза горели одушевлением, и Катя прочла в них блеск той же освобождающей радости, которая пылала в ее душе.

– Товарищи! Мы сейчас, значит, слышали, что вам объяснил товарищ Седой. И он говорил правильно... Теперь, понимаете, у нас трудовая власть и, конечно, советы трудящихся... Значит, ясно, мы должны о р г а н и з о в а т ь с я и, конечно, устроить правильно большое дело... Чтобы не было у нас, понимаете, богатых эксплуататоров и бедных людей...

Катя шла домой коротким путем, через перевал, отделявший деревню от поселка. Открывалась с перевала голубая бухта, красивые мысы выбегали далеко в море. Белые дачи как будто замерли в ожидании надвигающегося вихря. Смущенно стояла изящная вилла Агаповых, потерявшая уверенную свою красоту. Кате вдруг вспомнилось:

Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Подведенные девичьи глаза, маленький креольчик и лиловый негр из Сан-Франциско... И грубая, мутно бурлящая новая жизнь, чудовищною волною подлинных трагедий взмывшая над этою тихою, ароматно-гнилою заводью.

Толстый слой льда, оковывавший душу Кати, растрескался, и шел бурный ледоход, полный радостного шума и весеннего счастья самоосвобождения.

* * *

Около двух часов дня в автомобиле с красным флагом по шоссе пронеслись матросы. А в четвертом часу к Ивану Ильичу пришел худенький, впалогрудый почтальон с кумачным бантиком на груди, с огромной берданкой и передал приказ ревкома явиться к четырем часам в сельское правление.

– Зачем?

– Не знаю. Приказано собраться всем взрослым мужчинам из... – Он конфузливо улыбнулся... – из буржуазии. Кто не придет, – на расстрел.

Иван Ильич захохотал.

– Вот так, вы меня возьмете и застрелите?

Почтальон виновато улыбнулся.

– Значит, и пожалуйте.

Катя пошла вместе с отцом. В сельском правлении собралось много дачников. Сидели неподвижно, с широко открытыми глазами, и изредка перекидывались словами. Были тут и ласково улыбающийся Агапов, и маленький, как будто из шаров составленный, владелец гостиницы Бубликов. В углу сидел семидесятилетний о. Воздвиженский, с темным лицом, и тяжело, с хрипом, дышал. Афанасий Ханов, бледный и взволнованный, то входил в комнату, то выходил.

Иван Ильич спросил его:

– Чего это вы нас сюда согнали?

– Не знаю. Комендант Сычев приказал. Он сейчас приедет из Эски-Керыма.

Вошел артист Белозеров, с пышным красным бантом, с неподвижным и торжественным лицом. В руках у него была бумажка и карандаш. С ним вошел студент Вася Ханов, племянник Афанасия, красивый мальчик болгарин с черными бровями.

Белозеров сел к закапанному чернилами столу.

– Граждане! Прошу вас поочередно подходить к столу, я должен всех вас переписать.

Иван Ильич громко спросил:

– А позвольте узнать, с кем мы имеем дело?

– Член ревкома, – коротко ответил Белозеров, не глядя на Ивана Ильича.

Всех переписали.

Прошел час-другой. Комендант не приезжал. Собранные покорно ждали. Только Иван Ильич возмущенно ходил большими шагами по комнате. Когда вошел Ханов, он сердито спросил:

– Послушайте, господин, долго вы нас тут будете держать?

Ханов сконфуженно пожал плечами.

– Пойду еще позвоню по телефону.

Позвонил в Эски-Керым. Комендант-матрос ответил:

– Всем ждать! Приеду.

Солнце склонялось к горам. Местные парни с винтовками сидели у входа и курили. Никого из мужчин не выпускали. Катя вышла на крыльцо. На шоссе слабо пыхтел автомобиль, в нем сидел военный в суконном шлеме с красной звездой, бритый. Перед автомобилем, в почтительной позе, стоял Белозеров. Военный говорит:

– Белозеров, артист государственных театров? Как же, как же! Я вас слышал в Петрограде... А это что там за народ?

– Буржуев собрали, по приказу товарища коменданта.

– А-а! – зловеще протянул военный. – Ну, до свидания! Очень приятно таких людей встречать в наших рядах.

Он благосклонно протянул руку Белозерову. Автомобиль мягко сорвался и поплыл по шоссе. Белозеров пошел к крыльцу. Катя пристально смотрела на него. Белозеров поспешил согнать с лица остатки почтительно-радостной улыбки.

Еще час прошел. Звенел телефон в соседней комнате. Темнело. В правление вошли Ханов и Белозеров.

Белозеров, с серьезным и непроницаемым лицом, сказал:

– Граждане! Я должен объявить вам печальную весть... А впрочем, – для многих, может быть, и радостную, – поправился он. – Вы тоже имеете возможность послужить делу революции. Вы отправляетесь на фронт рыть окопы для нашей доблестной Красной армии.

Все молчали. Стало тихо. Слышно было только хрипящее дыхание о. Воздвиженского.

Иван Ильич резко и властно сказал:

– На окопные работы, по советскому декрету, отправляются мужчины только до пятидесяти лет, здоровые. А здесь есть больные, старики.

Белозеров и Ханов недоуменно переглянулись. Опять пошли к телефону. Воротились. Белозеров объявил:

– Все мужчины, без всяких исключений! Больные и старые, – все равно. Все должны отправиться сегодня ночью. Предлагаю вам, граждане, к одиннадцати часам ночи собраться к кофейне Аврамиди. Должны явиться все записанные, под страхом революционной ответственности.

И он вышел. Катя налетела на Ханова.

– Как же так? Что это за распоряжение нелепое?

Ханов растерянно поежился.

– Сычев по телефону велел всех представить. Больных хоть на койках тащить. Если кого оставим, весь ревком на мушку.

– Да поймите, как же больной на койке будет рыть окопы? Вот, например, батюшка Воздвиженский. Ведь вы же сами понимаете, – нелепость!

И вдруг с холодным, усталым ужасом чей-то женский голос произнес:

– Господи! Их везут расстрелять!

Трепет пробежал по всем. Бледный Ханов вышел. Взволнованно стали расходиться.

Иван Ильич с Катей воротились домой. Был уже девятый час вечера. Анна Ивановна торопливо собирала белье и еду. Когда Иван Ильич вышел в спальню, она растерянно взглянула на Катю и сказала:

– Леонид объявит там, что Иван Ильич бежал из России от чрезвычайки.

Катя нетерпеливо воскликнула:

– Ах, мама, ну что за вздор говоришь!

Вошел Иван Ильич, они замолчали. Катя, спеша, зашивала у коптилки продранную в локте фуфайку отца. Иван Ильич ходил по кухне посвистывая, но в глазах его, иногда неподвижно останавливавшихся, была упорная тайная дума. Катя всегда ждала в будущем самого лучшего, но теперь вдруг ей пришла в голову мысль: ведь правда, начнут там разбираться, – узнают и без Леонида про Ивана Ильича. У нее захолонуло в душе. Все скрывали друг от друга ужас, тайно подавливавший сердце.

Только что поужинали, опять явился почтальон с винтовкой и уже сурово сказал:

– Что ж не идете? Все уж собрались, вас ждут. Приказано вас привести.

Катя властно ответила:

– Можете идти. Мы сейчас выходим.

Почтальон помялся, сказал: «Поскорее велели!» – и ушел.

Оделись. Катя взяла саквояж. Иван Ильич остановился у двери:

– Ну, Анечка, тут простимся!

Он мягко улыбнулся беззубым ртом и раскрыл объятия жене. Анна Ивановна всхлипнула и припала к нему.

– Старенькая моя! – умиленно сказал он и гладил рукою ее волосы.

Потом лицо его стало серьезным и прислушивающимся, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул жене. Анна Ивановна отшатнулась.

– Ваня, что это ты!.. Зачем мне твое кольцо? Ведь это... Это только у покойников берут!

С тихой улыбкою Иван Ильич ответил:

– Может быть, так надо!

И они опять прильнули друг к другу.

– Ну, идем! – весело сказал Иван Ильич.

У кофейни стояло несколько мажар. Старуха жена и дочь поддерживали под руки тяжело хрипящего о. Воздвиженского, сидевшего на ступеньке крыльца. Маленький и толстый Бубликов, с узелком в руке, блуждал глазами и откровенно дрожал. С бледною ласковостью улыбался Агапов рядом с хорошенькими своими дочерьми. Болгары сумрачно толпились вокруг

и молчали. Яркие звезды сверкали в небе. Вдали своим отдельным, чуждо-ласковым шумом шумело в темноте море.

Секретарь ревкома, Вася Ханов, с заплаканными глазами, отмечал по списку отправляемых. И вдруг у всех еще крепче стала мысль, что везут на расстрел.

Густо усадили арестованных в мажары. Рядом с возницами село по милиционеру с винтовкой. Подошел подвыпивший, как всегда, столяр Капралов. Поглядел, покрутил головою.

– Гм! Советская Федеративная Республика!

У крыльца была суета.

– Доктор, помогите! – позвали Ивана Ильича.

Старик священник лежал в обмороке.

– Скорее, граждане! – торопил Афанасий Ханов.

Иван Ильич осмотрел больного, пощупал пульс и суровым, не допускающим возражений голосом громко сказал:

– Гражданин Ханов! Этого больного нужно оставить, его нельзя везти.

Афанасий Ханов истерически крикнул:

– Что это такое? Прошу вас не рассуждать, товарищ доктор. Вас никто не спрашивает! Поднимите его, положите в мажару! – приказал он болгарам.

– Я вас предупреждаю, гражданин Ханов, что больной не вынесет дороги. Ответственность я возлагаю на вашу совесть!

– Не ваше дело! Прошу не разговаривать! – взволнованно кричал Ханов.

Священника положили в подводу. Капралов смотрел, сложив руки на груди.

– Гм! Федеративная Республика!

Мажары двинулись. Женщины рыдали. Только Анна Ивановна смотрела вслед скрипевшим подводам, поджав губы, без слезинки, – она привыкла к непрерывным бедам, сыпавшимся на мужа всю его жизнь.

Болгары тихо переговаривались.

– Запьянствовал комендант в Эски-Керыме, потому сам не приехал.

– Это Васька Сыч, комендант-то! Я его сразу признал. До войны известный вор был в порту, а теперь гляди, – комендант, на машине ездит.

Кате не позволили ехать с отцом. Она бросилась в деревню, узнала, что ночью едет в город закупщик кооператива, устроилась с ним. Выехали они глухою ночью. Из моря вылез огромный, блестящий Скорпион и сидел в небе, поджав хвост. На перевале подул холодный ветер. Восток побледнел. За мостом подвода обогнала ряд мажар, густо усаженных арестованными с соседних дачных поселков. Молодые люди в изящных шляпах; толстый старик еврей с глазами навывкате и отвисшею губою; сизолицый отставной полковник. Сзади – линейка с пьяными красноармейцами. На шоссе откосах в глубокой предрассветной дреме кивали головками красные и желтые тюльпаны. Взошло солнце. Внизу, у бухты, голубел город, окутанный дымкою, сверкали кресты церквей, серели острые стрелки минаретов.

От возвращавшихся болгар-подводчиков Катя узнала, куда отвезли арестованных. По набережной тянулись дворцы табачных фабрикантов-миллионеров. Среди них белел огромный особняк с воздушными шпицами, похожий на дворец Гарун-аль-Рашида²⁹ в сказках. Над чугунными решетчатыми воротами развевался красный флаг. Два часовых с винтовками отгоняли толпу женщин, теснившихся к решетке.

Сбоку дома солдаты выводили из подвалов арестованных, кричали на них, ругали матерными словами:

²⁹ Гарун-аль-Рашид (Харун-аль-Рашид) – арабский халиф из династии Аббасидов. В сказках «Тысяча и одна ночь» образ его – доброго и справедливого государя – исторически ложен. Он был вероломным и мстительным деспотом.

– Стройся вдоль стенки! В затылок!.. Куда прешь, борода? Вот я тебе, ай не знаешь? А еще генерал!

Солдат замахнулся прикладом на худощавого, сгорбленного генерала с седой бородой.

Толстая дама в шляпке сказала упавшим голосом:

– К стенке строят, расстреливать будут!

Мастеровой в отрепанном пиджаке возразил тоном опытного человека:

– Нет, в два ряда строят. Значит, не на расстрел.

Другая дама униженно говорила часовому:

– Вы мне позвольте только пальто передать мужу. Подняли его ночью, в одном пиджаке увезли, – как же он там, в окопах...

– А прикладом в спину хочешь?

Катя вскипела.

– Почему вы ей говорите «ты»?! Мы вам «вы» говорим. Советская власть это отменила, чтобы гражданам говорить «ты»! Это только в царское время так становые да урядники разговаривали с людьми.

Солдат с удивлением оглядел ее.

– А за решетку хочешь? Вот я тебя сейчас в подвал отправлю.

– Нет, не отправите, не имеете права.

От ее решительного тона он замолчал и отвернулся.

Нервная дама в пенсне приставала к другому часовому:

– Но ведь мой муж – советский служащий, доктор. Вот документы. Дайте же мне пройти.

– Нельзя, товарищ!

– Его же расстреляют!

Часовой успокоительно сказал:

– Нет, только в окопы пошлют. Вон струмент раздают... Ничего, пущай, поработают в окопах.

– Да ведь он больной совсем!

Мастеровой в пиджаке враждебно возразил:

– «Больной». Что ж, что больной, за вас там даже безрукие сражаются, кровь свою проливают.

Подкатил автомобиль, развевались по ветру гвардейские желто-оранжевые ленточки матросских фуражек.

– Комендант!.. Сычев!

– Который?

– Вон тот, рыжий.

Дама в пенсне кинулась к нему.

– Товарищ комендант! Мой муж арестован, а он советский служащий, вот документы.

– К черту ступай! – Комендант отмахнулся и с другими матросами вошел в ворота.

Катя видела сквозь решетку, как его обступили арестованные. Комендант кричал, закинув голову и тряся кулаком, сыпал ругательствами. Катя поняла, что он совершенно пьян и ничего не станет слушать.

– Гнать всех в окопы! Никаких разговоров! – крикнул матрос и по мраморным ступеням вошел в парадный подъезд.

В толпе арестованных Катя увидела высокую фигуру отца с седыми косицами, падающими на плечи. Ворота открылись, вышла первая партия, окруженная солдатами со штыками. Шел, с лопатой на плече, седобородый генерал, два священника. Агапов прошел в своем спортсменском картузике. Молодой горбоносый караим³⁰, с матовым холеным лицом, в мод-

³⁰ Караимы – немногочисленная этническая группа. Живут в Крыму и Литовской ССР.

ном костюме, нес на левом плече кирку, а в правой руке держал объемистый чемоданчик желтой кожи. Партия повернула по набережной влево.

Подкатил к воротам другой автомобиль, вышло трое военных. В одном из них Катя узнала Леонида.

– Леонид!

Он удивился.

– Катя! Ты как здесь?

– Папу забрали, гонят на окопные работы.

– Что за нелепость! Ведь ему шестьдесят пять лет.

– И не только его. Посмотри, какие старики там, есть совсем больные... Священник Воздвиженский...

Леонид, не слушая дальше, прошел в подъезд.

Через минуту вышел красноармеец, выкликнул Ивана Ильича. Катя видела сквозь решетку, как отец спорил с ним, как тот сердился и на чем-то настаивал. Подошел другой солдат и взял Ивана Ильича за рукав. Иван Ильич выдернул руку.

– Э, черт! Еще разговаривать с тобой!

Солдат крепко схватил Ивана Ильича за руку под плечом, вывел за ворота и толкнул в спину.

– Ступай!

От толчка Иван Ильич пробежал несколько шагов поперек панели. Катя бросилась к нему.

– В чем дело?

Иван Ильич, не глядя на нее, быстро шагнул вдоль набережной. Катя побежала за ним.

– В чем дело? Папа, что они с тобой?

Он остановился.

– Это что? Твои хлопоты? По протекции освободили? Через «товарища Леонида»? С какой стати мне одному уходить? Не благодарю тебя.

– Ну, папа... Погоди...

– Старик Воздвиженский умер ночью у нас в подвале.

Катя ахнула.

Загудела сзади сирена. Леонид со спутниками ехал на автомобиле. Катя остановила его.

– Леонид, одного только папу освободили. А там много еще стариков, больных. Священника Воздвиженского забрали совсем больного, он у них ночью умер в подвале.

Спутники Леонида насмешливо смотрели на Катю. Леонид нетерпеливо нахмурился.

– Освободили тебе его, чего же еще?

– А других? А за то, что комендант этого больного священника велел забрать, умирающего, и он умер?.. Это декрет запрещает. Неужели он не ответит?

– Извини, мне некогда... Товарищ шофер, можно ехать.

* * *

Через несколько дней почти все арестованные воротились домой. Командующий фронтом отправил их обратно, заявив: «На что мне эта рухлядь?»

Часть вторая

В Отделе народного образования, – сокращенно: «Отнароб-раз», – работа была ключом. Профессор Дмитриевский, оказалось, был еще и прекрасным организатором. Комиссаром его не утвердили, – он был не коммунист. Комиссаром был юный студент-математик, не пытавшийся проявлять своей власти и конфузливо уступивший руководство Дмитриевскому. Официально Дмитриевский числился членом коллегии.

Он привлек к работе лучших местных педагогов и деятелей народного университета. Вводилось в школы трудовое начало, организовались вечерние курсы и рабочие клубы, расширена программа народного университета, намечалась сеть подвижных библиотек по уезду, увеличение числа школ. Педагоги сначала настороженно следили за начинаниями профессора: они ждали, что командовать над ними поставят школьных сторожей и ломовых извозчиков. Увидели, что не так, и охотно взялись за работу. Катю Дмитриевский сделал своим секретарем. Ей много приходилось принимать рабочих, крестьян, и весело было иметь с ними дело.

И весело было, что смело ломались все застывшие формы школьного дела, что выносились из школ иконы, что бариачи-гимназисты сами мыли полы в классах, что на гимназических партах стали появляться фабричные ребята. И хорошо было, что Дмитриевский умел устранить из всего этого всякий оттенок измывательства. Он сам посещал школы, беседовал с учениками, объяснял им, что не нужно стыдиться физического труда, что религия – это частное дело каждого, что предметам одного религиозного культа не место в школах, где для совместного обучения сходятся люди самых разнообразных вероисповеданий.

Дмитриевский умел выбирать людей. Делами Отдела управлял бывший банковский служащий Гольдберг. Молодой, смуглый, с сверкающими зубами и смеющимися глазами; внутри его как будто была заложена тугая, никогда не ослабевающая пружина. Все он умел устроить, все умел добыть. Раньше всех других отделов выцарапывал жалованье для служащих, организовал совместное получение хлебного пайка, добывал удобные помещения для клубов и библиотек, охранные грамоты для теснимых ученых и художников. Самые трудные дела поручал ему Дмитриевский.

– Ну что?

– Есть! – отвечал он, плутовски смеясь глазами.

Среди милых, но пассивных и мягких русских сотрудников он был как крутящийся волчок среди неподвижных кукол. И когда его звали: «Арон Моисеич!» – он весь взвизывал и вместо «что?» спрашивал:

– Ради бога?

Приехал из Арматлука артист Белозеров и предложил свои услуги по организации подотдела театра и искусств. Ревком дорожил именами и с радостью принял его предложение. Белозеров немедленно реквизирует только что достроенный театр частного предпринимателя, хотя театры в Крыму в то время не реквизировались. Наробраз делал объявления: «Предлагается гражданам», – Белозеров в своей области выпускал «приказы» и грозил расстрелом саботажникам, которые не регистрируют в Отделе своих музыкальных инструментов. Он быстро перезнакомился и сошелся со всеми влиятельными лицами; бывал у них на дому, пел им, пил с ними и сразу приобрел самое привилегированное положение. Заявил, что его зовут в Симферополь на огромный оклад, и ревком, не в пример прочим, назначил ему шестнадцать тысяч в месяц, когда все комиссары получали жалованья по одной-две тысячи. Получал он какими-то способами и вино, и сахар, и мясо. Занимал две роскошные комнаты с ванной в реквизированном особняке. И он говорил:

– По душе я всегда был коммунистом.

* * *

Кате отвели номер в гостинице «Астория». Была эта лучшая гостиница города, но теперь она смотрела грустно и неприветливо. Коридоры без ковров, заплеванные, белевшие окурками; никто их не подметал. Горничные и коридорные целый день либо валялись на своих кроватях, либо играли в домино. Никто из них не знал, оставят ли их, какое им будет жалованье. Самовары рядком стояли на лавке, – грязно-зеленые, в белых полосах. На звонки из номеров никто не шел. Постояльцы кричали, бранились. Прислуга лениво отвечала:

– Кричи не кричи, а паном все равно не будешь!

Жили в гостинице советские служащие, останавливались приезжавшие из уезда делегаты, красноармейцы и матросы с фронта. До поздней ночи громко разговаривали, кричали и пели в коридорах, входили, не стучась, в чужие номера. То и дело происходили в номерах кражи. По мягким креслам ползали вши.

Катя встретила на улице с адвокатом Миримановым. По-всегдашнему изящно одетый, в крахмальных манжетах и воротничке.

Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

– Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромное одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят «товарищей»... Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

– Объясните мне, пожалуйста, – что же это кругом делается? Всё портят, ломают, загаживают. Ни в чем никакого творчества, какое-то сладострастное разрушение всего, что попадает на глаза. И какое топтание личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

– Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кругу: «Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить». Единственная умная голова среди них.

Катя перебралась к Миримановым.

* * *

Жизнь катилась, шумя и бурля, – дикая, жестокая и жуткая, сбросившая с душ все сдержки, разнуздавшая самые темные страсти.

В одной из верхних квартир дома Мириманова жил бывший городской голова Гавриленко, а у него занимала комнату фельдшерица Сорокина, служившая в госпитале. Она иногда забегала по вечерам к Кате. Рассказывала, что в госпитале назначили главным врачом ротного фельдшера, что председателем комитета служащих состоит старший санитар Швабрин. Врачей он перевел в подвальные помещения, а их квартиры заселил низшими служащими. Врача-хирурга заставил мыть полы в операционной. Больные лежат без призора, сиделки уходят с дежурства, когда хотят. Врачи не смеют им ничего сказать.

Была эта Сорокина худенькая, безгрудая, с узким тазом, и вся душа ее была в ее больных. Вот что еще она рассказывала, – и беспомощный ужас стоял в бледных глазах:

– Недавно в тюремную палату к нам перевели из особого отдела одного генерала с крупным воспалением легких. Смирный такой старичок, тихий. Швабрин этот так и ест его глазами. Молчит, ничего не говорит, а смотрит, – как будто тот у него сына зарезал. Как у волка глаза горят, – злые, острые. И вчера мне рассказал генерал: Швабрин по ночам приходит – и бьет его!.. Вы подумайте: больного, слабого старика!

Для Кати ужасы жизни были эгоистически непереносимы, если смотреть на них, сложа руки, и перекипать душою в бессильном негодовании. Она кинулась отыскивать Леонида. Нашла. Он только что приехал с фронта. Злой был и усталый. Раздраженно выслушал Катю и грубо ответил:

– Эту твою фельдшерицу нужно бы арестовать и отправить в чрезвычайку, чтоб не распространяла таких клевет. Ясное дело, – больной бредит.

Но Катя видела, – в усталом взгляде его мелькнуло растерянное отчаяние, и она поняла: просто, они не в силах обуздать того потока злодейства и душевной разнузданности, в котором неслась вышедшая из берегов жизнь.

А через день утром опять пришла Сорокина. И вся дрожала крупной дрожью, и губы прыгали. И рассказала: ночью она зашла в палату, где помещался генерал, видит: лежит он на полу мертвый, с синим лицом и раскинутыми руками. Она бросилась к дежурному врачу. Пришли с ним – труп лежит на постели, руки сложены на груди. Синее лицо с прикушенным языком, темные пятна на шее. И Швабрин пришел, – глаза бегают. Дежурный врач отказался подписать свидетельство о смерти, – говорит, нужно сделать вскрытие. А главный врач, фельдшер этот: «Чего тут вскрывать, дело ясное. Давайте, я сам подпишу».

* * *

Объявили регистрацию офицеров. Приказ заканчивался так: «Кто не регистрируется в указанный срок, объявляется вне закона и будет убит на месте».

Пришел к Миримановым их племянник Борис Долинский, – тот юноша с подведенными глазами, который тогда пел у Агаповых красивые стихи об ананасах в шампанском. Мириманов сурово глядел на его растерянное лицо с глазами пойманного на шалости мальчишки.

– Что ж, брат, этого нужно было ждать. Не хотел сражаться вместе с нашими, не хотел с ними уходить, – теперь послужишь у красных, если совесть позволяет.

– Так ведь у меня же правда туберкулез легких. Они не возьмут.

– Процесс пустяковый, ты сам знаешь. И отсрочку-то на год тебе дали только благодаря протекции генерала Холодова.

Борис истерически плакал.

– Ну что же... Ну, ведь и ваш же Николай тоже в Красной армии...

Мириманов сердито сверкнул глазами.

– Во-первых, я этого точно не знаю. А во-вторых, если он действительно там, то уж никак не для того, чтобы способствовать торжеству «рабоче-крестьянской власти».

– Мама говорит, – пойти, зарегистрироваться.

– Конечно, что ж теперь делать. В горы ты не уйдешь.

* * *

Катя после службы зашла пообедать в советскую столовую. Столовая помещалась в нижнем этаже той же «Астории», в бывшем ресторане гостиницы. Столики были без скатертей, у немых зеркальных окон сохли в кадках давно не поливаемые, пыльные пальмы. Заплеванный, в окурках, паркет. Обед каждый приносил себе сам, становясь в очередь.

Сидели за столиками люди в пиджаках и в косоворотках, красноармейцы, советские барышни. Прошел между столиками молодой человек в кожаной куртке, с револьвером в желтой кобуре. Его Катя уже несколько раз встречала и, не зная, возненавидела всею душою. Был он бритый, с огромной нижней челюстью и придавленным лбом, из-под лба выползали раскосые глаза, смотревшие зловеще и высокомерно. Катя поскорей отвела от него глаза, – он вызывал в ней безотчетный, гадливо-темный ужас, как змея.

– Товарищи, можно сесть к вашему столику?

– Пошалоста!

Это были два немецких солдата, их каски с копьевидными верхушками стояли на столе. Катя со своею тарелкою супа села к столику. И сейчас же стала жадно по-немецки расспрашивать солдат, – кто они, как сюда попали, почему.

Тот, который отозвался на ее вопрос, – высокий и крепкий красавец с веселыми глазами, – рассказывал: он – спартаковец, был арестован немецким командованием за антимилитаристскую пропаганду в войсках; несколько раз его подвешивали на столбе, били. Перед уходом немцев из Крыма он бежал из-под караула.

Немец засмеялся и любовно ткнул товарища локтем в бок.

– Вот с этим парнем (mit diesem Kerl)! Он был моим караульным. Сбил его с пути истинного; изменил он кайзеру, забыл честь германского воина.

Товарищ его, с большими рыжими усами, стыдливо улыбался.

Первый с восторгом стал говорить о русских: во всемирной истории не бывало такого случая, – в первый раз не фразами одними, а делом люди пошли против войны, свергли биржевиков, которые бросили трудящихся друг на друга. И борьбу в стороны заменили борьбою вверх.

– А мы? Как ребята, мы дали затуманить себе головы нашим руководителям. Мы, дескать, не пойдем, – а вдруг те все-таки пойдут? Разве так можно было рассуждать? Все равно как при атаке: я брошусь вперед, а вдруг остальные не двинутся с места? Каждый бросайся вперед и верь, что и другие бросятся. Только так и можно дело делать. И что теперь получилось? Цвет нации истреблен, накопленные богатства расточены, а победитель ткёт паутинку и налаживается, чтобы приникнуть и пить из нас остатки крови. Конец Германии!

– А если бы вы победили, вы то же бы самое сделали с Францией.

– Ну, да (ja wohl)! В этом и ужас. Создавали культуру, науку, покоряли природу, – и все для того, чтобы превратить Европу в дикую пустыню и людей – в зверей. Какой позор (welcher Unfug)! И вдруг русские: не хотим! Довольно! Molodtzi rebiata!

И с любовью он оглядывал красноармейцев за соседним столиком, евших с заломленными на затылок фуражками.

* * *

В квартиру к Мириманову вселили десять солдат. Они водворились в кабинете Мириманова, выходившем на садовую террасу, и в комнате рядом.

Лежали в грязных сапогах на турецких диванах. Закоптелые свои котелки ставили прямо на сукно письменного стола, на нем же и обедали, заливая сукно борщом. Жена Мириманова, Любовь Алексеевна, – полная дама с золотыми зубами, – хотела поставить им простой стол, – они не позволили. Солдаты ничего не делали круглые сутки, но пола никогда не мели. Дрова кололи на террасе, разбивая цветные плиточки мозаичного пола; а спуститься пять ступенек, – и можно было колоть на земле. За нуждой ходили в саду под окнами. Пробовал их убеждать Мириманов, пробовала Катя, – они слушали, не глядя, как будто не с ними говорили, с predetermined нежеланием что-нибудь делать, о чем просят буржуи.

Вечером Катя готовила себе ужин в саду на жаровне. На дорожке три красноармейца развели костер и кипятили в чайнике воду. Двое сидели рядом с Катей на скамейке. Молодой матрос, брюнет с огненными глазами, присев на корточки, колот тесаком выломанные из ограды тесины.

Он опустил тесак и сказал:

– А на кой они нам черт, ваши образованные? Только то и делали, что за грудки нас хватали. Миллион народу, каждый расскажет, как измывались над ним. А теперь, – «я, – гово-

рит, – образованный!» – А кто тебе дал образование? – «Отец». – А отец, значит, нас грабил, если тебе мог дать образование, значит, и ты грабитель!

– Дело не в том. А без просвещения, без культуры вы никогда не создадите социализма.

– Мы вашу буржуазную культуру попираем ногами.

– Вы, товарищ, повторяете чужие слова, а сами их не понимаете. Вот у вас винтовки, пулеметы. Это дала буржуазная культура. Бросьте их, сделайте себе каменные топоры, как наши далекие предки. В комнатах у вас, – как загажено все, как заплевано, никогда вы их не метете. А буржуазная культура говорит, что от этой грязи разводятся вши, чахотка, сыпной тиф. К нам войдете, – никогда даже не поздороваетесь, шапки не снимете.

– А вам так нужно: «Ах, милосливая государыня! Наше вам низжайшее! Позвольте ручку поцеловать!» – Солдаты на скамейке засмеялись. – Прошло времечко!

– Нет, нужно только, чтоб вы сказали: «Здравствуйте!» Чтоб видно было, что вы по-человечески относитесь.

– Никакого человечества! Борьба классов! Весь вред – от буржуазного элемента. Как ужа вилами, прижать – и растерзать! Почему до сих пор социализму нету? От них! Саботажничают, Антанту призывают! Всю эту сволочь нужно истребить, и чтоб осталась одна святость!

– Много у вас святости останется при такой кровожадности! Вот потому-то, что у вас почти все такие, социализма вы и не сможете устроить.

– Что?! – Матрос вскочил на ноги и с тесаком ринулся на Катю. – Не устроим?! – Он остановился перед нею и стал бить себя кулаком в грудь. – Поверьте мне, товарищ! Вот, отрубите мне голову тесаком: через три недели во всем мире будет социальная революция, а через два месяца везде будет социализм. Формальный! Без всякого соглашательского капитализму!.. Что? Не верите?!

Катя смеялась.

– Конечно, не верю.

– А говорите, тоже социалистка! – Матрос с изумлением оглядел ее. – Какая же вы социалистка?

Сгущались сумерки. В темноте взволнованно вспыхивал огонек папироски во рту матроса. Он мало слушал Катю и только повторял беспощадно:

– Растерзать их всех, шкуры спустить и повесить на фонарях! Пусть все видят! Уничтожить! Вот, как с офицером было! Попища-ли они у нас, как погоны мы с них срывали, да в море бросали с палубы вместе с погонами ихними! А то в топку прямо, – пожарься!

Позже Катя часто припоминала тот кровавый хмель ненависти, который гудел в эти годы во всех головах, и, казалось, вдруг обнаружил звериную сущность человека. И спрашивала себя через несколько лет: куда же девались эти миллионы звероподобных существ, захлебывавшихся от бурной злобы и жажды крови?

Солдат на скамейке, скуластый парень с добродушным лицом, не торопясь, рассказывал:

– Мы на фронте только в газетах прочли, что погоны снимают, – не стали и приказа ждать, прямо офицера за погоны: «Ты что, сукин сын, погоны нацепил?» Если ливарвер найдем, штык в брюхо. Согнали всех офицеров в одно место, велели погоны скидать. Иные плачут, – умора!

И другой отозвался, бородатый:

– Да, изменение большое тогда пошло. Раньше, бывало: «Ваше высокопревосходительство!», «Ваше благородие!», «Рад стараться!». А тут командиру корпуса: «Ну-ка, товарищ, дай-ка прикурить». Не даст, – в ухо!

А матрос взволнованно говорил:

– Теперь у нас разговор короткий: труд! И больше ничего! Не трудящийся да не ест! Не хочешь работать, – к черту ступай! А как раньше бывало: руки белые, миллиарды десятин у него, в коляске развалился, кучер с павлиньими перьями, а мужик на него работает да горелую корку жует!

– Вы говорите, – труд. А я вот смотрю, – меньше всех трудитесь сейчас как раз вы все. Я даже не могу понять: как не скучно так бездельничать!

Матрос опять ринулся на Катю, сумасшедше сверкая глазами.

– Что?! Бездельничаем?.. Вчера на субботнике вот как работали! До кровавых мозолей! Дрова пилили... Смотрите, руки какие! А вы что говорите!

Катя взглянула и вдруг расхохоталась. Схватила матроса за руки и потащила к костру.

– Слушайте, да что же это такое?! Ну-ка, ну-ка! Господи, какие нежные, барские ручки! Белые, мягкие и два кровавых волдырика на них!.. Посмотрите мои.

Она протянула ладони, покрытые плотными, желтыми мозолями. Матрос сконфузился и спрятал руку.

– Нет-нет, дайте мне посмотреть! Что же это такое? Я такие ручки только в прежнее время у барышень видала, которые всегда в перчатках... Если сейчас людей сортировать по мозолистым рукам, то вас в первую очередь надо на мушку!.. Ха-ха-ха!

Скуластый солдат враждебно возразил:

– Мы сейчас кровь проливаем.

– «Кровь»... Вы – армия трудящихся. Глядя на вас, все мы должны уважать труд, а все только говорят: «Вот бездельники! Еще больше, чем прежние офицеры!» У них тоже такие вот ручки белые были, как у вас. И они тоже говорили: «Мы кровь проливаем, потому бездельничаем».

– Вскипел, что ли, чайник?.. С разговорами вашими...

Матрос стал подкладывать щепки в костерик. Катя беззвучно смеялась про себя.

Продолжали разговаривать. Матрос сделался смирнее и уже не кидался на Катю с тесаком.

Она спросила:

– А скажите, много вы на своем веку убили людей?

Матрос улыбнулся.

– Штучку эту видите? – Он хлопнул рукою по револьверу у пояса, вынул его и стал вертеть в руках. – Много бы она могла вам порассказать!

Катя с тоскою воскликнула:

– И неужели, неужели никогда совесть вас не мучит!

– С чего? А они как? Попадись к ним, – тоже разговаривать мало станут.

– И никогда вам не снятся те, кого вы убили?

Он не ответил. Замолчали. На меркнувшем западе, меж пирамидальных акаций, ярче сверкала Венера.

– Вы раньше крестьянином были?

– Крестьянствовал.

Катя тихо сказала:

– Ну а так не думается вам иногда? Вот бы все это поскорее кончилось, воротиться домой. Звезда на вечернем небе, пруд, скотина с луга идет домой... Нива своя, волны золотые идут по ржи...

Матрос поморщился и сказал:

– Эх! Никогда этого, думается, уж не будет!.. Зверем стал.

Потом подбодрился, взял себя в руки и другим голосом сказал:

– Своей нивы теперь не будет полагаться. Сознательность пойдет. Везде будет коммуна. Какой смысл? Каждый на своем клочке ковыряется, без солидарности. Будет общий труд, товарищество, общественная нива, и все, как один человек, будут выходить с косами.

Бородатый солдат, больше все молчавший, вдруг вскочил на ноги, взволнованно подошел к матросу.

– Вот! Бей меня тесаком по шее! Руби голову долой! Я десять лет свиней пас! Понимаешь ты это дело?

– Ну, свиней пас? Что понимать? – пренебрежительно спросил матрос.

– Десять лет свиней пас у барина! Сейчас у нас пять десятин на отрубе. Руби голову, а не отдам вам! На, – вымай тесак свой, руби!

– Вот дура! – Матрос растерянно взглянул на него. – Пьян!

– Нет, не пьян. И пусть Николай Второй опять будет!

* * *

К Мириманову пришла повестка: временным революционным комитетом на него налагается контрибуция в сорок тысяч рублей; деньги должны быть внесены в двадцать четыре часа: если не будут внесены к сроку, с гражданином Миримановым будет поступлено со всею революционную строгостью.

Мириманов изумился: деньги его лежали в банке, а на днях только было объявлено, что все вклады в банках конфискуются. Он пошел объясняться в ревком. Долго спорили, торговались. Наконец, спустили ему до пятнадцати тысяч. Мириманов внес.

Вдруг через два дня новая повестка: внести дополнительные двадцать пять тысяч. Мириманов опять пошел и решил добиться свидания с самим председателем ревкома Искандером. Воротился домой часов через шесть, бледный от подавляемого бешенства, гадливо вздрагивающий.

– Кричал на меня, как пьяный, топал ногами. «Все мы знаем, что вы золото лопатами загребали! Если не внесете, – сгною в подвале!» – Он обратился к Кате: – Ну, объясните мне: вклады конфискованы, продавать вещи запрещено, дом теперь не мой, – откуда же прикажете достать денег? Все, что было, отдали им. А ты знаешь, кто этот Искандер? – спросил он жену. – Приказчик из универсального магазина «Оганджанца и К^о», я его помню, в мануфактурном отделении торговал, – молодой армяшка с низким лбом... И какой себе псевдоним взял, паршивец! Наверно, и не слыхал про Герцена.

Заплатить было нечем. Назавтра пришли милиционеры и увели Мириманова. Любовь Алексеевна проводила его до ворот Особого отдела. Дальше ее не пустили. Но она видела решетчатые отдушины подвалов, где сидели заключенные, в отдушины несло сырым и спертым холодом. А толпившиеся у ворот родственники сообщили ей, что заключенные спят на голом цементном полу.

Любовь Алексеевна истерически рыдала, сверкая золотом зубов, и говорила Кате:

– Ведь у него туберкулез легких! Его подвал убьет в одну неделю!

– Подайте прошение в ревком, укажите, что он тяжело болен. Не может же быть, чтоб на это не обратили внимания! Завтра же подайте.

– Екатерина Ивановна, пойдите со мной!

* * *

Назавтра они пошли.

Записывала на прием барышня с подведенными глазами, слушавшая высокомерно и нетерпеливо. Четыре часа ждали очереди в темном коридоре. Хвост продвигался вперед очень медленно, потому что приходили рабочие и их пропускали не в очередь. Наконец вошли.

В просторном кабинете стиля модерн за большим письменным столом с богатыми принадлежностями сидел бритый человек. Катя сразу узнала неприятного юношу с массивной нижней челюстью, которого она видела в советской столовой. Так это и был Искандер! Но тут, вблизи, она увидела, что он не такой уже мальчик, что ему лет за тридцать.

Искандер молча взглянул на золотые зубы Любви Алексеевны странными своими глазами, как будто разошедшимися в стороны под придавленным лбом. Любовь Алексеевна протянула ему прошение и, волнуясь, стала говорить.

Он слушал, читал бумагу и кивал головою.

– Угу!.. Да... Так...

И все сочувственнее кивал головою.

– Хорошо. Все, что возможно, будет сделано. Не волнуйтесь.

Взял чернильный карандаш и на углу прошения стал писать.

– Вот. Пойдите, отдайте бумагу управляющему делами. По коридору вторая дверь направо.

Любовь Алексеевна растерялась от радости.

– Спасибо вам!.. Большое, большое вам спасибо, товарищ Искандер!

– Не стоит, сударыня. Это наш долг.

Они вышли. Любовь Алексеевна восторженно говорила:

– Смотрите, какой милый! Совсем не такой, как о нем говорили. Что он написал?

На площадке лестницы они стали читать. Любовь Алексеевна вздрогнула.

– Господи! Да что же это? Екатерина Ивановна, что же это здесь...

На прошении крупным размашистым почерком было написано:

«Оставить эту нахальную бумагу без последствий. Держать в подвале, пока не внесет до копейки. А сдохнет, беда не велика».

Милиционер у двери в кабинет не хотел их впустить. Катя властно сказала:

– Да мы сейчас тут были, нам два слова.

Председатель ревкома разговаривал с толстою заплаканною женщиной. Он взглянул на них, и Катя прочла в его глазах скрытно блеснувшее острое наслаждение. Любовь Алексеевна подошла.

– Товарищ Искандер!.. Что же это, недоразумение? Вы издеваетесь надо мной...

Искандер вскочил с потемневшими глазами и топнул ногою.

– Вон! Как вы смели сюда войти?

Катя вмешалась.

– Да послушайте! Поймите же: откуда им взять денег, если деньги были в банке, а из банка не выдают!

– Где хотите доставайте! Нам хорошо известно, как он зарабатывал! Тысячи загребал. Юрисконсульт был у самых крупных фабрикантов; рабочих засаживал в тюрьмы. Пусть теперь сам посидит. Я вас заставлю распотрошить ваши подушки! Сегодня же переведу его в карцер, – будет сидеть, пока все не внесете.

Катя в бешенстве спросила:

– Скажите, пожалуйста, кому можно на вас жаловаться?

Искандер изумленно поднял брови, поглядел на нее и с наслаждением ответил:

– Можете телеграмму послать Ленину... Товарищ Григорьев!

В дверях появился милиционер.

– Чего вы сюда впустили этих? Гоните их вон!

Они вышли. Когда спускались по широкой лестнице, Любовь Алексеевна вдруг дернула Катю за рукав и покатила по мраморным ступенькам вниз.

* * *

Мучительный был день. Катя не пошла на службу и осталась с Любовью Алексеевной. Мириманова была как сумасшедшая, вырывалась из Катиных рук, билась растрепанною головою о стену и проклинала себя, что ухудшила положение мужа.

Только поздно ночью она заснула тяжелым, летаргическим сном. То и дело как будто кто-то другой рыдал в ней смутным, словно из другого мира звучащим рыданием.

На заре в прихожей зазвенели сильные, настойчивые звонки. Любовь Алексеевна со стоном проснулась и вскочила. Катя отперла.

Вошло четверо, – двое мужчин и две женщины.

– Что вам нужно?

Один, высокий, с револьвером у пояса, властно спросил:

– Кто живет в этой квартире?

– Тут много живет...

– Рабочие или из буржуазии?

– В тех двух комнатах живут красноармейцы... Я – советская служащая...

– Вон в тех двух? Хорошо... Товарищи, сюда!

Они вошли в комнату Любви Алексеевны. Женщины подошли к комодам и стали выдвигать ящики. Высокий с револьвером стоял среди комнаты. Другой мужчина, по виду рабочий, нерешительно толкся на месте.

С револьвером сказал:

– Товарищ, что ж вы? – Он повел рукой вокруг. – Выбирайте, берите себе, что приглянется. Вот, откройте сундук этот.

Рабочий мялся. Катя спросила:

– Скажите, что это? Обыск?

– Изъятие излишков у буржуазии... Товарищ, пойдите-ка сюда!

Мужчина с револьвером открыл сундук.

– Вот, шуба меховая. Я думаю, пригодится вам?

Любовь Алексеевна, в кофточке, сидела на постели с бессильно свисшими, полными плечами и безучастно смотрела.

Рабочий конфузливо вынул шубу, отряхнул ее от нафталина и нерешительно оглядел. Женщины жадно выкладывали на диван стопочки батистовых женских рубашек и кальсон, шелковые чулки и пикейные юбки.

Одна, постарше, с желто-худым лицом работницы табачной фабрики, спросила нерешительно:

– Товарищ, а зеркало можно взять?

– Берите, берите, товарищ, чего стесняетесь? Видите, сколько зеркал. На что им столько! По три смены белья оставьте, а остальное все берите.

У женщин разгорелись глаза. Младшая взяла с туалета две черепаховых гребенки, коробку с пудрой, блестящие ножницы.

Мужчина с револьвером обратился к рабочему, все еще в нерешительности смотревшему на шубу.

– Ну, товарищ, чего ж вы? Берите, нечего думать. Шуба теплая, буржуйская. Великолепно будет греть и пролетарское тело!

Любовь Алексеевна сказала:

– Послушайте, вы говорите, – изъятие излишков. Это единственная шуба моего мужа.

– А где ваш муж?

– Он... он сейчас арестован за невзнос контрибуции...

– Та-ак... – Мужчина усмехнулся. – Берите, товарищ! Ему в тюрьме и без шубы будет тепло.

Любовь Алексеевна уткнулась головой в подушку.

– Господи!.. Господи, господи! Когда же смерть? Когда же, когда же смерть!

Она рыдала в подушку, колыхаясь всем своим телом.

Женщины, с неприятными, жадными и преодолевающими стыд лицами, поспешно, как воровки, увязывали узлы. Рабочий вдруг махнул рукою, положил шубу обратно в сундук и молча пошел к выходу.

* * *

Через день Катя читала в газете «Красный Пролетарий»:

ПОХОД НАШИХ РАБОЧИХ НА БУРЖУАЗИЮ

22 апреля состоялось торжественное заседание конференции Завкомов и Комслужей и разных комиссий при Завкомах. Зал театра «Иллюзион» был переполнен. Собралось свыше 800 рабочих и работниц. Раньше были обсуждены некоторые нерассмотренные вопросы конференции, как-то: Собес и жилищный вопрос. В обоих докладах ясно вырисовывалась необходимость принять срочные решительные меры по отношению к буржуазии и облегчению участи рабочих. После этого был заслушан доклад тов. Маргулиеса о революционном движении на Западе.

С внеочередным заявлением выступил предревком товарищ Искандер, который предложил революционные слова претворить в действия и этой же ночью произвести первое нападение на буржуазию для изъятия излишков.

Гром аплодисментов и несмолкаемые радостные клики всего собрания были показателем того, что предложение любимого вождя нашло пролетарский отклик у всех делегатов собрания.

Вопрос не вызвал споров. Он был слишком ясен, он был слишком понятен, слишком бесспорен!

Загорелись глаза у пролетариев, понасупились брови, сжались невольно в кулаки мозолистые руки. Уж мы покажем.

Предстояло просидеть в театре до пяти часов утра с тем, чтобы на рассвете двинуться на работу. Время пробежало весьма быстро.

Члены союза «Всерабис» сколотили на скорую руку концерт, и зал начал жить небывало интенсивною жизнью. Знаменитый артист Белозеров затянул родную нашу «Дубинушку». Мощный голос певца звучал истинно революционным подъемом, и дружно подхватила рабочая масса припев. Все слились в один общий коллектив, спаянный великим огнем революционно-пролетарского гнева. Сцена не оставалась ни на минуту пустой. К двум часам ночи уже не было нужды в артистах-профессионалах.

Раскачалась рабочая масса. Один за другим вылезали на сцену простые рабочие и нехитрым языком, не смущаясь, рассказывали анекдоты, декламировали стихи.

К пяти часам утра коммунисты уже разбились на районы и на тройки, чтобы руководить отрядами. Очередь была за рабочей конференцией.

Весело, толкая друг друга, перекидываясь шутками, выходила группа за группой рабочих на соединение с коммунистами в поход на буржуазию.

– Петь можно? – спросил у меня один рабочий.

– Не стоит, – ответил я.

– Чего же бояться, ведь мы же рабочие! – возразил он, полный мощного сознания силы рабочего класса.

С п а р т а к.

* * *

Любовь Алексеевна где-то достала двадцать пять тысяч и внесла в ревком. Мириманова выпустили.

* * *

В отделе Наробраза работа шла полным и ладным ходом. Открывались новые школы, библиотеки, студии, устраивались концерты и популярные лекции.

Однажды Дмитревский, когда остался у себя в кабинете один с Катей, пожал плечами и сдержанно усмехнулся.

– Все это, конечно, очень хорошо, но ведь для того, чтоб такую огромную программу провести в жизнь, нужны средства богатейшего государства. Программы намечают широчайшие, а средств не дают. Народным учителям мы до сих пор не заплатили жалованья. Дело мы разворачиваем, а чем будем платить?

Приехал из Арматлука столяр Капралов, – его выбрали заведывать местным Отделом народного образования. Он был трезв, и еще больше Катю поражало несоответствие его простонародных выражений с умными, странно интеллигентными глазами. Профессор и Катя долго беседовали с ним, наметили втроем открытие рабоче-крестьянского клуба, дома ребенка, школы грамоты. Капралов расспрашивал, что у них по народному образованию делается в городе, на лету ловил всякую мысль, и толковать с ним было одно удовольствие.

Он сообщил, между прочим, что несколько барышень-дачниц хотят открыть частную школу. Болгары охотно соглашались платить, потому что программа предполагается много шире программы народной школы; особенно почему-то их прельщает, что дети их будут учиться французскому языку.

Дмитревский ответил:

– Мысль хорошая. Но только одно необходимое условие: школа должна быть бесплатной.

– Ну где ж бесплатно! Барышни с голоду умирают. А болгары платить могут, они богатые.

– Все равно. По декретам, обучение всякого рода должно производиться совершенно бесплатно.

– Вы, значит, можете нам такую школу устроить бесплатно?

– Нет, у нас на это нет средств.

Капралов внимательно смотрел на него, и в глазах зажглись смеющиеся огоньки.

– Так как же?

Катя, с удивлением слушавшая профессора, вмешалась:

– Но ведь сами же они соглашались платить! А без платы ничего не выйдет. И хорошее культурное начинание заглохнет.

Глаза Дмитревского смотрели растеряннo, но тем решительнее он ответил:

– Бедняки платить не в состоянии. И получится опять привилегированная школа. Пусть тогда общество сложится, платит от себя.

– Ну! Не знаете, что ли, наших мужичков? У кого детей нет или учить не желает, – разве согласится платить?

– Тогда не могу разрешить.

В первый раз Катя повздорила с Дмитревским. Но он остался при своем.

* * *

В сумерках шла Катя через приморский сквер. Душно было, горячая пыль неподвижно висела в воздухе. От загаженной, с оторванными досками ротонды, где в прежние времена играла музыка, шел тяжелый, отпашывающий запах; там уж третий день смердела в кустахдохлая собака с оскаленными зубами, и никто ее не прибирал. Поломанные кусты, затоптанная трава. И от домов за сквером тянуло давно нечищенными помойными ямами и отхожими местами. Хотелось вон из города, наверх в горы, где не загажена людьми земля, где плавают в темноте чистые ароматы цветущих трав.

По узкому переулку, мимо грязных, облупившихся домиков, Катя поднималась в гору. И вдруг из сумрака выплыло навстречу ужасное лицо: кроваво-красные ямы вместо глаз, лоб черный, а под глазами по всему лицу – вьевшиеся в кожу черно-синие пятнышки от взорвавшегося снаряда. Человек в солдатской шинели шел, подняв лицо вверх, как всегда слепые, и держался рукою за плечо скупчиво смотревшего мальчика-поводыря; свободный рукав болтался вместо другой руки.

Катя, широко раскрыв глаза, долго смотрела ему вслед. И вдруг прибойною волною взметнулась из души неистовая злоба. Господи, господа, да что же это?! Сотни тысяч, миллионы понаделали таких калек. Всюду, во всех странах мира, ковыляют и тащатся они, – слепые, безногие, безрукие, с отравленными легкими. И все ведь такие молодые были, крепкие, такие нужные для жизни... Зачем? И что делать, чтоб этого больше не было? Что может быть такого, через что нельзя было бы перешагнуть для этого?

Катя быстро шла вверх по переулку.

Ничего такого нет! Все допустимо. Все, что только возможно! И слава, – да, да, – и слава, привет тем, кто с яростною решительностью ринулся против этого великого мирового преступления! Вспомнился немец солдат в «Астории», и как с любовью он оглядывал красноармейцев с заломленными на затылок фуражками.

Были до сих пор для Кати расхлябанные, опустившиеся люди, в которых свобода развязала притаившийся в душе страх за свою шкуру, были «взбунтовавшиеся рабы» с психологией дикарей: «До нашей саратовской деревни им, все одно, не дойти!» А может быть, – может быть, это не все? Может быть, не только это? И что-то еще во всем этом было, – непознаваемое, глубоко скрытое, – великое безумие, которым творится история и пролагаются новые пути в ней.

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет,
Нам безумец дал Новый Завет, —
Потому что безумец был Богом!³¹

Катя шла по горной дороге, среди виноградников, и смеялась. Да, эти разнузданные толпы, лущившие семечки под грохот разваливающейся родины, – может быть, они бросили в темный мир новый пылающий факел, который осветит заблудившимся народам выход на дорогу.

На повороте лежал большой белый камень. За день он набрал много солнечного жару и был теплый, как печка. Катя села.

Внизу, вокруг дымно-голубой бухты, в пыльной дымке лежал город, а наверху было просторное, зеленовато светящееся небо, металлическим блеском сверкал молодой месяц, и, мигая, загоралась вечерняя звезда. Там, внизу, – какая красота в этой дымке, в этих куполах

³¹ Строки из стихотворения Ж.-П. Беранже «Безумцы».

и минаретах, в светящихся под закатом белых виллах и дворцах! А под ротондой, с обнаженными ребрами стропил, гниет дохлая собака, и тянется по улицам кислая вонь от выгребных ям, и пыль в воздухе, и облупившиеся стены домов. Там ли была она права, судя о городе, или здесь, на высоте?

Быстрые мысли бежали через голову, и образы проносились, – жуткие, темные. Генерал с синим лицом, и сумасшедше насканивающий матрос с тесаком, и бритый человек с томно-сладоострастным взглядом из-под придавленного лба. И мужики еще вспомнились, расхищавшие помещичьи усадьбы. Она видела в России эти отвратительные разгромы. Не люди, а жадное зверье, с одною меркою для себя и с иною меркою – для других. А с высоты, – с высоты, может быть, не так! Может быть, еще что-то, более широкое и важное? И может быть, даже, – великая, благословенная правда и полное оправдание?

* * *

Из верхнего этажа дома Мириманова, – там было две барских квартиры, – вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды, – только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

– Куда ж нам выселяться?

– Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший, – он надел на себя белья и одежды, сколько налезло, – ушел с многочисленной семьею к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женою у Мириманова.

– Но скажите, пожалуйста, ведь все-таки, – какая же nibудь нужна законность. Ну, выселили, – предоставьте хоть чуланчик какой!

Мириманов процедил сквозь зубы:

– «Революционное правосознание»!

– Я одного не понимаю: зачем такое изысканное бесчеловечие? Как будто нарочно всех хотят восстановить против себя.

Жена Гавриленко рыдала.

– Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

* * *

Длинные очереди Гавриленко простаивал в Жилищном отделе, наконец, добирался. Ему грубо отвечали:

– Записали вас, – чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

– Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

– У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерицу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из Жилотдела. А в

Жилищном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

– Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако пошла. Простояли с Сорокиной длиннейшую очередь, добрались. Черноволосая барышня с матовым лицом и противно красными, карминовыми губами нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

– Ничего нельзя сделать. К вам вселят по ордеру Жилищного отдела.

Катя остолбенела.

– Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

– Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно объяснила:

– Сказал товарищ Зайдберг, заведующий Жилотделом.

– Ну и идите к нему.

– Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

– Товарищ, куда к нему пройти?

– Что?

– Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

– Ах, господи! Комната № 8.

В коридоре они встретили доктора Вайнштейна. Он с довольным лицом шел к выходу.

Катя спросила:

– Получили ордер?

– Да.

– Как?

Вайнштейн втянул голову в плечи, поднял ладони, улыбнулся лукаво и прошел к выходу.

Катя с Сорокиной вошли в комнату № 8.

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями.

– Надежда Васильевна, Роза Моисеевна определенно говорит, что видела вас вчера вечером на бульваре с очень интересным молодым человеком...

Они болтали и как будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя наконец сказала раздраженно:

– Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо.

Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

– В чем дело?

Катя объяснила.

– Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел. Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

– Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

– Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

– В чем же закон?

– В чем я скажу... Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

– Когда же кончится это хамское царство!

Молодой человек вскочил.

– Что вы сказали?!. Товарищи, вы слышали, что она сказала?

Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

– Не слышали? Так я повторю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

– Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера... Прошу вас, гражданка, не уходить. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

– Особый отдел?.. Пожалуйста, начальника. Просит заведующий Жилотделом... Товарищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой... Что? Хорошо. И свидетелей? Хорошо.

Он стал писать.

– Вы не отпираетесь, что сказали: «когда же кончится это хамское царство?»

– Не отпираюсь и еще раз повторяю.

– Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем, вы слышали. С этой бумагой ответите ее в Особотдел.

Милиционер с винтовкой повел Катю по улицам.

В комнате сидел человек в защитной куртке, с револьвером. Недобро поджав губы, он мельком равнодушно оглядел Катю, как хозяин скотобойного двора – приведенную телушку.

– Вы занимались контрреволюционной агитацией?

Катя усмехнулась.

– Странно было бы заниматься такой агитацией пред большевиками.

Особник неожиданно ударил кулаком по столу.

– Чего смеешься, белогвардейка паршивая! Пропаганду разводишь в городе! Я тебе покажу!

Катя побледнела и выпрямилась.

– Если вы со мною будете так разговаривать, я вам слова не отвечу на ваши вопросы.

Он внимательно оглядел ее.

– Ого! Видна птичка по полету. В камеру Б! – распорядился он.

* * *

Это был подвал с двумя узкими отдушинами, забранными решеткой. Мебели не было. Стоял только небольшой некрашенный стол. Когда глаза привыкли к темноте, Катя увидела сидящих на полу возле стен несколько женщин. Она спросила с удивлением:

– Скажите, а коек здесь не полагается?

Седая женщина с одутловатым лицом ответила:

– Нет.

– Так как же?

– На полу. Что тут есть, – у каждого свое, доставлено из дому. Садитесь ко мне.

Катя подошла к двери и стала стучать. Грубый голос спросил:

– Что надо?

– Откройте, мне нужно вам сказать.

Дверь открыл солдат с винтовкой.

– Ну? что такое?

– Скажите, где же мне тут спать? Где присесть?

Солдат изумился.

– Где хочешь.

– Как же мне? На голом каменном полу? Дома даже не знают о моем аресте, у меня ничего нету. Дайте мне хоть голую койку.

– Не полагается.

– Как это может быть? Тогда позовите ко мне начальника.
– Пошел он к тебе!
– Потрудитесь не говорить мне «ты»! – вскипела Катя.
Солдат долго поглядел на Катю и надвинулся на нее.
– Будешь тут бунтоваться, я тебя скоро сокращу... Пошла!
Он толкнул ее в плечо и запер дверь.

Катя в беспомощном бешенстве оглядывалась.

Есть за весь день ничего не дали. Хлеб выписывали с утра, и она могла получить только завтра. Приютила Катю на своем одеяле та седая женщина, с которой она говорила.

Голодная и разбитая впечатлениями, Катя всю ночь не спала. В душе всплескивалась злоба. Через одеяло от цементного пола шел тяжелый холод, тело горело от наползавших вшей. И мелькало перед глазами бритое, горбоносое лицо с надменно отвисшею нижнею губою. Рядом слабо стонала сквозь сон старуха.

* * *

Два дня прошло. Любовь Алексеевна узнала от Сорокиной об аресте и принесла для Кати подушку, одеяло и тюфячок.

В камере сидело пять женщин. Жена и дочь бежавшего начальника уездной милиции при белых. Две дамы, на которых донесла их прислуга, что они ругали большевиков. И седая женщина с одутловатым лицом, приютившая Катю в первую ночь, – жена директора одного из частных банков. С нею случилась странная история. Однажды, в отсутствие мужа, к ней пришли два молодых человека, отозвали ее в отдельную комнату и сообщили, что они – офицеры, что большевики их разыскивают для расстрела, и умоляли дать им приют на сутки.

– А лица такие неприятные, глаза бегают... Но что было делать? Откажешь, а их расстреляют! Всю жизнь потом никуда не денешься от совести... Провела я их в комнату, – вдруг в дом комендант, матрос этот, Сычев, с ним еще матросы. «Офицеров прятать?» Обругал, избил по щекам, арестовали. Вторую неделю сижу. И недавно, когда на допрос водили, заметила я на дворе одного из тех двух. Ходит на свободе, как будто свой здесь человек.

День тянулся в полумраке, ночь – в темноте. Света не давали. Кате вспомнились древние, – раньше казалось, навсегда минувшие, – времена, когда людей бросали в каменные ямы, и странную представлялась какая-нибудь забота о них. Вспомнился когда-то читанный рассказ Лескова «Аскалонский злодей» и Иродова темница в рассказе. Все совсем так.

Жена директора банка тяжело стонала по ночам от ревматизма. Лица у всех были бело-серые, платья грязные, живые от вшей. Голод, бессветие, дурной воздух. В душах неизбежно жили ужас и отчаяние.

Катя узнала от товарок по заключению, что их камера Б – «сомнительная». Из нее переводят либо в камеру А – к выпуску, либо в камеру В – для расстрела. На днях расстреляли двух девушек-учительниц за саботаж и контрреволюционную пропаганду. Катя жадно расспрашивала про них днем, а ночью бледные их тени реяли пред нею в темноте.

* * *

Позвали к допросу. Когда Катя входила в просторную комнату особняка, где ждал допрос, ее вдруг стала трепать такая дрожь, и так забилося сердце, что Катя пришла в отчаяние.

Сидело за столом трое, один из них – тот, который на нее тогда стучал кулаком. Сидевший в середине, бритый, спросил:

– Ваше имя, фамилия?

Катя сказала.

– Вы родственница товарища Сарганова-Седого?

– Это к делу не относится! – резко оборвала Катя.

Бритый внимательно поглядел. Тот, прежний, неподвижным взглядом уставился на Катю, и в тяжелых глазах его был уже предрешенный приговор. Третий, широкоскулый, в матросской фуражке, с смеющимся про себя любопытством приглядывался к взволнованному лицу Кати, так странно не соответствовавшему ее резкому тону.

– Бывшее звание ваше?

– Дворянка, – с вызовом ответила Катя. И задышалась, и прижимала руку к сердцу.

Бритый успокаивающе сказал:

– Да вы не волнуйтесь, дело пустяковое.

Катя с презрением возразила:

– Я вовсе не от допроса вашего волнуюсь.

Бритый предложил рассказать, как было дело. Допрашивал мягко и не враждебно. Катя все рассказала и прибавила, что в «хамском царстве» вовсе не раскаивается, что этот Зайдберг, правда, держался, как хам.

– И я думаю, вы на моем месте, если бы испытали все эти издевательства, тоже сказали бы так.

Бритый улыбнулся тонкими своими губами.

– Ну, я бы выразился осторожнее: назвал бы хамом его, если бы стоил, а не говорил бы вообще о хамском царстве... Можно увести, – обратился он к страже.

Катя еще больше заволновалась.

– Я имею сделать заявление.

– Пожалуйста.

– Вот какое заявление...

И вдруг она перестала дрожать, в душе стало радостно и твердо.

– Я сидела в царских тюрьмах, меня допрашивали царские жандармы. И никогда я не видела такого зверского отношения к заключенным, такого топтания человеческой личности, как у вас... Я сижу в камере подследственных, дела их еще не рассмотрены, может быть, они еще даже с вашей точки зрения окажутся невинными. А находятся они в условиях, в которых при царском режиме не жили и каторжники. У тех хоть нары были, им хоть солому давали, им хоть позволяли дышать иногда чистым воздухом. А вы бросаете ваших пленников в темные подвалы, люди лежат на холодном каменном полу, вы их морите голодом. Тюремщики обращаются с ними, как с рабами, кричат на них, говорят им «ты». Неужели же вас ни разу не заинтересовало зайти и посмотреть, как вот здесь, под полом, под вами, живут люди, которых вы лишили свободы?.. И потом. Вы вот выясняете мою вину, – а почему вы не стараетесь выяснить, что ее вызвало? Почему не арестовываете людей вроде этого Зайдберга или вашего Искандера? Они своими действиями гораздо больше подрывают авторитет вашей власти, чем всякие контрреволюционные пропаганды.

Катя все высказала, что у нее накопилось. И когда ее вели назад в тюрьму, в душе было удовлетворение и блаженная тишина.

* * *

Рассказала о допросе, и что она им сказала. И вдруг все кругом замерли в тяжелом молчании. Смотрели на нее и ничего не говорили. И в молчании этом Катя почувствовала холодное дыхание пришедшей за нею смерти. Но в душе все-таки было прежнее радостное успокоение и задорный вызов. Открылась дверь, солдат с револьвером крикнул:

– Сарганова! Собирай вещи. Через час к выпуску.

Так говорили, и когда на волю выпускали, и когда уводили на казнь. Вчера выпустили одну из дам, сидевших по доносу прислуги: все писали письма, чтобы передать с нею на волю. Теперь никто. И украдкой все с соболезнаванием и ужасом поглядывали на Катю. Ясно было, – все они понимают, что ее переводят в страшную камеру В.

Кате стало весело, и смех неудержимо забился в груди: да неужели это правда смерть? И неужели бывает так смешно умирать? Она хохотала, острила, рассказывала смешные вещи. И что-то легкое было во всем теле, поднимавшее от земли, и с смеющимся интересом она ждала: десяток сильных мужчин окружит ее; поведут куда-то, наставят ружья на нее. И им не будет стыдно...

* * *

Но оказалось, выпустили на волю. Дома Катя узнала, что за нее сильно хлопотал профессор Дмитревский. Особенный эффект на них произвело, что она – двоюродная сестра Седого. Сообщили ей также, что приходил жилищный контролер и взял ее комнату на учет.

* * *

Домовым комитетам было объявлено: кто первого мая не украсит своего дома красными флагами, будет предан суду ревтрибунала. Гражданам предписывалось, под страхом строжайшей революционной ответственности, представить в ревком всю имеющуюся красную материю. Бухгалтер отдела с скрытой улыбкой сообщил Кате, что на табачной фабрике вывешено объявление завкома о поголовном участии в манифестации. Кто не пойдет, будет объявлен врагом пролетариата.

В отделе был получен церемониал манифестации. Дмитревский суетился и напоминал сотрудникам, чтоб ровно к десяти часам все собрались в отдел, а оттуда все вместе двинутся к сборному пункту у фонтана Орам-Тимура (теперь – фонтан Карла Либкнехта). Он рассматривал с художниками знамена и плакаты.

Катя спросила:

– Нужно обязательно участвовать на демонстрации?

– Обязательно!

– А я не пойду. Противно. По принуждению.

Дмитревский растерянно взглянул на нее.

– Конечно, насильно вас никто не станет заставлять. Но желательно, чтоб отдел был представлен полностью.

Белозеров кипуче работал. В театре готовились к постановке «Ткачи»³², оркестры разучивали революционные марши, инструкторы по пению обучали по фабрикам хоры рабочих.

* * *

Катя пошла часам к одиннадцати посмотреть. На панелях в ожидании густо стояли зрители. Катя была уверена, что народу на демонстрации будет позорно мало, и в душе ей хотелось этого.

Был чудесный солнечный день, за деревьями сквера сверкало море. Вдали могуче загремел оркестр. Интернационал. Промчался на автомобиле Белозеров с огромным красным бантом на груди.

³² «Ткачи» – известная пьеса Г. Гауптмана о восстании силезских ткачей.

Музыка приближалась. Заалели под солнцем развевающиеся знамена, плескались красные флаги на домах.

Старый учитель гимназии, – Катя его однажды видела у Мири-мановых, – вполголоса говорил соседу:

– Людям одеться не во что, а тысячи аршин материи тратят на флаги и знамена!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.